

Андрей Вознесенский



Андрей  
Вознесенский



Андрей Вознесенский

---

Андрей  
Вознесенский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
в трех томах



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

Андрей  
Вознесенский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ



СТИХОТВОРЕНИЯ  
и  
ПОЭМЫ



Рифмы прозы



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1984

**P2**  
**B 64**

**Оформление художника**  
**Вл. МЕДВЕДЕВА**

**© Оформление. Издательство**  
**«Художественная литература»,**  
**1984 г.**

**B**  $\frac{4702010200-313}{028 (01)-84}$  **подписное**

# СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

---



# Малый зал

---

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.  
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.  
Снегом осело, что было лицом.  
Я тебя отнял у крематория  
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние  
Новодевичьего монастыря.  
Спят Вознесенский и Вознесенская —  
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне  
стало святыней.  
В сквере скамейки, Ордынка за ними  
стали святыней.  
Стал над березой екатерининской  
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?  
По уши в ландыши влюблена,  
интеллигентка в косынке Рабкрина  
и ермоловская спина!



---

В скрежет зубовой индустрий и примусов,  
в мире, замешенном на крови,  
ты была чистой любовью, без примеси,  
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,  
ты охраняла очаг и порог,  
беда и волосы молодые,  
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь  
там без родни?  
Носик смешливо больше не сморщишь  
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.  
Сам распахнется ахматовский томик.  
Что тебя мучает, Антонина,  
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.  
Я ощущаю присутствие в доме.  
В темных стихиях ты наша заступница,  
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок  
с корочкой хлебца на сорок дней.  
Она испарилась наполовину.  
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,  
но это последняя связь с тобой!  
Оборвалось. Я стою у обрыва,  
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня  
и познакомила этим с собой,  
с тайным присутствием идеала,  
что приблизительно звали — любовь.

---

Благодарю, что мы жили бок о бок  
в ужасе дня или радости дня,  
робкой любовью приткнувшийся лобик —  
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унижительно.  
Кто прочитает это, скорей  
матери ландыши принесите.  
Поздно — моей, принесите — своей.

1983

## ВЕСТНИЦА

Я к вечеру шестого мая  
в глухом кукушкином лесу  
шел, просекою подымаясь,  
к электротягам на весу.

Как вдруг,  
спланировав на провод,  
вольна причудой неземной,  
она, серебряная в профиль,  
закуковала надо мной.

На расстоянье метров сорок,  
капризница моих тревог,  
вздымала ювелирно зорко  
свой беззаботнейший зобок.

Судьбы прищепка бельевая,  
она причиною годов  
нечаянно повелевала.  
От них качался проводок.

И я стоял, дурак счастливый,  
под драгоценным эхом их.  
Я был отсчитывать не в силах.  
Неважно сколько — но каких!

О боже, — думал — как жемчужно  
ниспосланы наверняка —  
необъяснимая пичужка,  
нежданные твои века!

## ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории  
не Большой, а Малый зал.  
Словно скрипку первосортную,  
его мастер создавал.

И когда смычок касается  
его певчих древесин,  
Паганини и Касальсы  
не соперничают с ним.

Он касается Истории,  
так что слезы по лицу.  
Липы спиленные стонут  
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...  
Не перестраивайте вы  
Малый зал Консерватории —  
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано  
венских стульев без гвоздей.

---

Этот зал имеет право  
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой  
скутан пол и потолок —  
исторической прохладой,  
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,  
не для суетных смотрин  
в малый сруб Консерватории  
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,  
что ему грозит пожар —  
деревянной малой родине.  
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты  
с гениальностью в очах  
и презрительным брезентом  
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура  
исчезающей Москвы  
нос от сбившейся цезуры  
морщит, как от мошкары.

Герцена интеллигенция!  
Кто раскаялся, что лгал,  
пусть подаст, как индульгенцию,  
контрамарку в Малый зал.

В этом схожесть с братством ложи  
я до дрожи узнавал.  
Боже,  
как люблю я Малый зал!

---

Даже не консерваторская,  
а молитвенная тишь...  
В шелковой косовороточке  
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией  
золотым пронзен лучом —  
как видение Егория  
не с копьем, но со смычком.

1982

## СЕСТРА

Сестра, ты в «Лесном магазине»  
выстояла изюбрину,  
тиха как в монастыре.  
Любовницы становятся сестрами,  
но сестры не бывают возлюбленными.  
Жизнь мою опережает  
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.  
Ради родителей, мужа, брата, etc.  
забыла сероглазые свои таланты  
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик  
написал бы Кранах,  
только облачко укоризны  
неуловимо для мастерства,  
да и руки красные  
от водопроводных кранов —  
святая моя сестра!

Что за дальний свет состраданья,  
обретая на срок земной  
человеческие очертанья,  
стал сестрой?..

Жила-была девочка.  
Ее рост — на шкафу зарубками.  
Кто сказал,  
что не труженица  
лобастая стрекоза?

---

Маешься на две ставки,  
стираешь, шьешь,  
не воруеть,  
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор.  
И когда уверенно  
надеваешь с короткими рукавами халат —  
будто напяливаешь  
безголово-безрукую Венеру.  
Я с ужасом замечаю,  
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком  
или сойдя с катушек,  
когда я на острие —  
скажу: «Поставь раскладушку» —  
вздыхнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,  
таща авоськи с морковью!..  
Метромост над тобой грохочет,  
как чугунный топот  
Петра.

А рядом — за стенкой,  
за Истрою, за Москвою  
страна живет, как сестра.

Сестра твоя по страданию,  
по божеству родства,  
по терпеливой тайне —  
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?  
Сестра моя, поспала бы...  
В зимние вечера  
над шитьем сутулятся  
две русых настольных лампы.  
Одна из них — моя сестра.



## ПРОПОРЦИИ

Все на свете русские бревна,  
что на избы венцовые шли,  
были по три сажени — ровно  
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради  
мужик в Вологде или Твери  
чуял сердцем мильонную радиуса  
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья,  
и жемчужина на Нерли  
сохраняли — мужчина и женщина —  
две мильонные доли Земли.

И как брат их березовых родин,  
гениален на тот же размер,  
Парфенона дорический ордер  
в высоту шесть сажений имел.

Научитесь у них, умиленно-  
пасторальные кустари,  
соразмерности с миллионной  
человечески общей Земли.

---

Ломоносовскому проспекту  
не для моды ведь зодчий Москвы  
те шестьсот тридцать семь сантиметров  
дал как модуль красоты и любви.

Дай, судьба, мне нелегкую долю,  
испытанья любые пошли —  
болью быть и миллионною долей  
и моей и всеобщей земли!

1983



Вижу как сон — ты стоишь в полукруге  
новых подруг девятого дня.  
Сосредоточенно, но не в испуге,  
будто в обиде, не видишь меня.

А по спине под луной купоросной  
льется волос распущенных вал.  
Мало я знал тебя простоволосой.  
В детстве проснувшись, в пучке заставлял.

Ты была праведница, праведница!  
Кто ты теперь? Дай мне знать как-нибудь.  
Будто с заминкой какой-то не справишься.  
Я не решился тебя спугнуть.

Видно, стояла перед астралом.  
Или русалка какая, шутя,  
меня разыгрывала, отсталого?  
Еще секунду я видел тебя.

Темной тревогой вздрогнуло тело —  
мать пролетела.

Милое дело. Обычное дело.  
Мать пролетела — жизнь пролетела.

Прощай, прощай! Кружись над краем  
плачущим.

Лишь ветви елей, воздух уколов,  
поднимут указательные пальчики  
спадающих широких рукавов.



Иду я росой предпокосной  
словить электричку скорей.  
Паслен и кукушкины слезы  
обплачут меня до колен.

И долго еще эти травы,  
темнея каймою внизу,  
как будто по матери траур,  
на брючинах серых ношу.

1983

## РОК

Рок надо мною. Куда меня гоните?  
По раскладушкам мечусь, как изгой.  
Горе как погреб в любой раскрывается  
комнате  
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить как манило.  
Что получил я? Счет гробовой.  
Под колыбелью раскрылась могила.  
Ров подо мною — рок надо мной.

Это расплата космического расклада.  
Всем, кого любишь, оказываешься бедой.  
Как я любил переделкинские пенаты!  
Смыло щепой.

А в небесах ненасытным уроком  
воет душа,  
что в сердцах самовольно спустила курок.  
Рок над семьею, откуда я родом.  
И над землей, где семья моя, рок.

Чем я служил в эти светлые годы,  
кроме стихов, что попутно изрек?  
Я для народа домашнего был тайным  
громоотводом.  
Трещит позвоночник. Такой уж рок.



Просто — наше шоссе и шиповник.  
Дождь из облачка невпопад.  
Как подошвы чьих-то шиповок,  
лужи гвоздиками торчат.

Я всему говорю спасибо —  
непосильного счастья боль,  
непосильное небо синее,  
непосильна земная соль.

1983

## РЯБИНА В ПАРИЖЕ

Скоро сорок шестая година,  
как вы ездили с речью в Париж,  
Пастернаковская рябина,  
над всемирной могилой горишь.

Поезд шел по Варшавам, Берлинам,  
Обернулась Марина назад.  
«Россия моя, лучина...»  
А могла бы рябиной назвать.

Ваша речь не спасла от лавины,  
Впрочем, это еще вопрос.  
Примороженную рябину  
я по ягодке каждому вез.

И когда по своим лабиринтам  
разбредемся в разрозненный быт,  
переделкинская рябина  
нас, как бусы, соединит.

1982

## ДОГАДКА

Ну почему он столько раз про ос,  
сосущих ось земную, произносит?  
Он, не осознавая, произнес:  
«Ося...»

Поэты любят имя повторять —  
«Сергей», «Владимир» — сквозь земную осыпь.  
Он имя позабыл, что он хотел сказать.  
Он по себе вздохнул за тыщу лет назад:  
«Ох, Осип...»

1982



## МЫСЛЯЩИЙ ПРОМЫШЛЕННИК

Мой портрет сегодня — мыслящий  
промышленник,  
У него боксерская скуловая мышца.  
Его зубы крепки от строганины.  
Он в речах не терпит  
абстракционизма.

Ветер вырывает папки из-под мышек.  
Мыслите, мыслите честно, без ботвы!  
Есть борьба тяжелая  
мыслящей промышленности  
с легкою промышленностью болтовни.

Он сейчас мозгует, мыслящий промышленник,  
чтоб в Париже газу русскому гореть,  
в Орше, в Перемышле  
чтобы не прошмыгивала  
мимо покупателей  
естественная снедь,

Мыслите о тайне синевы рублевской  
и не забывайте, грезя о фиалках,  
почему колготки семирублевые  
стоят ровно столько же,  
сколько кофеварка?

---

Мыслящий промышленник схож с Роденом.  
Он завод колготок ставит на поток,  
чтобы золотая линия  
одела  
сто сорок миллионов ждущих ног.

Некая блюстительница ухмыльнется колко,  
но и ей зимою без них нельзя.  
Нравственной гораздо завод колготок,  
чем о бабской доле  
абстрактная слеза!

Делайте, делайте, делайте хоть что-нибудь!  
Как ни манит к странствиям Посейдон.  
Нравственность абсурдна  
без экономики  
для тех, кто в коммуналках  
ютится по сей день.

Сделайте, сделайте, сделайте хоть что-нибудь!  
Защитите реку и птичий крик!  
Записал он реку на магнитофоне.  
И ночами слушает  
мыслящий тростник.

Когда утром ловит он «на мормышку»  
или курит с северною одышкой,  
красный с белым свитер горит широко,  
как собор нарышкинского  
барокко.

Но не так все просто под оболочкой.  
Под ножом хирурга потеряв жену,  
он теперь пытается  
одевать по-блоковски —  
как жену — страну...

Обожаю Волгу возле Камышина.  
Реки — мысль природы, не прервите мысль,  
ход непостижимой пока промышленности,  
производящей  
загадку — жизнь...



## ДУХОВНОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Разве взятка система «Вятка»?  
«Лада» в лапу не хороша.  
Процветает духовное взяточничество.  
И нищает наша душа.

Мы улыбку даем, как рубчик.  
Подхалимы бряцают туш.  
Пострашнее других коррупций  
лихоимство душ.

Прозаический шеф журнала  
начинает писать стихи,  
и критические журчалы  
сразу патокой истекли.

Ты не Пушкин и вряд ли Вяземский.  
Плох твой стих. Зато пост хорош.  
Ты, товарищ,— духовный взяточник.  
Ты борзыми статьями берешь.

Может, новый Есенин и Хлебников  
в дверь издательскую не прошли,  
оттого что редактор Сребреников  
потирает ручки свои.

Понимаю, что жизнь не святки.  
О небесном запой, душа!  
Разменялась душа на взятки.  
Ей не пишется ни шиша.



Ах, летучая бусинка боли,  
сверху листиком оснащена.  
Золотые как будто бемоли  
сыплет осень на нас семена.

Они впились в твой шарф полосатый,  
зацепились в твоих волосах.  
Тебя сделали Музою сада.  
Я не знаю, в каких ты садах.

1982

## ЗОМБИ ЗАБВЕНЬЯ

Я проснулся от взгляда. Это было у Лобни.  
За окошком стояла зомби.

И какая-то потусторонняя сила  
внутри форточку отворила.

Моя зомби забвенья, ты стояла в ознобе,  
по колено в прощенье,  
по колено в сугробе,  
потеряв одну туфлю, сжав другую, как бомбу —  
моя зомби,  
программу забывшая зомби!

Забинтованный палец  
с проступившей зеленкой  
теребил кончик елочки,  
как приспущенный зонтик.

Взгляд ее был отдельным.  
Он стоял с нею рядом,  
заползал в сновиденье.  
Все меж мною и садом  
было недоуменно-вопрошающим взглядом  
уголовного взлома и душевного слома,  
смилуйся,  
распрограммируйся, зомби!



---

Смилуйся, распрограммируйся, зомби!  
Смилуйся, распрограммируйся, поле!  
Распрограммируйся, серое солнце,  
в мир, что задумывался любовью.

Смилуйся, распрограммируйся, Время,  
чем ты была, если я разумею,  
жизнь, позабывшая код заповедный,  
зомби забвенья.

Распрограммируйся, туфля-подснежник!  
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!  
Жизнью обертывается позднее  
эта и мне непонятная повесть.

Амба. Меня ты назавтра убила.  
Но не о том я молю с горизонта:  
это тебя не освободило?  
Милая! Распрограммируйся, зомби!



## В ТОПОЛЯХ

Эти встречи второпях,  
этот шепот торопливый,  
этот ветер в тополях —  
хлопя спальни тополиной!

Торопитесь опоздать  
на последний рейс набитый.  
Торопитесь обожать!  
Торопитесь, торопитесь!

Торопитесь опоздать  
к точным глупостям науки,  
торопитесь опознать  
эти речи, эти руки.

Торопитесь опоздать,  
пока живы — опоздайте.  
Торопитесь дать под зад  
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать  
к ежедневному набору,  
ко всему, чья ипостась  
не является тобою!..

Эти шавки в воротах.  
Фары вспыхнувшим рапидом.  
У шофера — второй парк.  
Ты успела? Торопитесь...

## РЕДКИЕ КРАЖИ

Обнаглели духовные громилы!  
На фургон с Цветаевой совершен налет.  
Дали кляп шоферу —  
чтоб не декламировал.  
Драгоценным рифмам настает черед.

Значит, наступают времена Петрарки,  
когда в масках грабящие мужи  
кареты перетряхивали  
за стихов тетрадки.  
Маскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру  
и ждать —  
придет в пурпурном  
подводном шлеме Дант.  
У бандитов тоже есть дни культуры.  
Угнал вагон Высоцкого  
какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,  
скоро будут грабежи!..

«Граждане,  
давайте воровать и спекулировать,  
и из нас появится Франсуа Вийон!  
Он издаст трагичную  
«Избранную лирику»,  
Мы ее своруюем и боданем».

---

Одному поэту проломили череп,  
вытащили песни лесных полян,  
и его застенчивый щегловый щебет  
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой сам продал  
голос свой таранный.  
Он теперь без голоса —  
лишь хлюп из гланд.  
Спекулянт бывает порой талантлив.  
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьезным —  
Время ждет таланта.  
Пригубляйте чашу с молодым вином.  
Тьма аквалангистов, но нету Данта:  
Ксе-кто ворует —  
но где Вийон?

Но главное, что время воспеть Лауру!  
И кто-то уже бросил  
монетку в автомат.  
«Пройдемся,— позвонит мне.—  
Уснули караулы.  
Я — Дант».

1982

## СИНИЙ ЖУРНАЛ

В. Быкову

Цвет новомировский,  
с отсветом в хмарь —  
неба датированный  
почтарь!

В ящик проглянет  
неба прищур  
этих без глянца  
синих брошюр.

Метростарушка,  
в лифте чудак  
небом наружу  
станут читать.

Не изменились,  
не отцвели,  
цвет новомировский,—  
читатели!

Цвет новомировский,  
авторов цвет...  
Жизни нормированы.  
Многих уж нет.

Все по России  
носит почтарь  
порции синего  
с отсветом в хмарь.

---

Интеллигенция  
встанет моя,  
зябнув коленцами  
после спанья.

Синей обложкой  
внутри завернет,  
будто из неба  
сложив бутерброд.

В спешке кухонной  
станем с тобой  
пищей духовной,  
пищей богов.

1980



Нельзя в ту же реку стать дважды.  
Верните коня на скаку.  
Когда возвращается жажда,  
верните за гриву реку.

Ты вечно, ты вечно другая,  
река, возвращенная вспять...  
Как в кроле, рука, засыпая,  
высвободится опять.

1982



Тихо-тихо. Слышно точно,  
как текут  
                                секунды  
  дней.

Струйкой тихою песочка  
пересыпается  
                                цепочка  
на шее дышащей твоей...

1982



Прошло много ли мало —  
снова стон из тумана:  
«Разве я понимала?  
Разве я понимала?»  
Где-то в Тьмутаракани  
в номерах у вокзала —  
«Я была молодая.  
Разве я понимала?»  
Непонятная сила,  
что казалась романом —  
«Один раз я любила.  
Разве я понимала?»  
Самолеты летели,  
и менялись составы.  
Твое солнце налево.  
Мое солнце направо.  
«Один раз я любила.  
Разве я понимала?»  
Менять шило на мыло —  
я тебе не «меняла».  
Не вопи ты над нами  
темнотой поминальной!  
Или это поддатый  
голос бога в тумане?  
Я люблю тебя, дура,  
моя жизнь золотая.  
Разве я понимаю?  
Разве я понимаю?



## РЕЗИНОВЫЕ

Я ненавижу вас, люди-резины,  
вы растяжимы на все режимы.

Улыбкой растягивающейся зевнут,  
тебя затягивают, как спрут.

Неуязвим человек-резина,  
кулак засасывает трясина.

Редактор резиновый трусит текста,  
в нем вязнет автор, как в толще теста.

Я знаю резиновый кабинет,  
где «да» растягивается в «да не-ет...».

Мне жаль тебя, человек-эластик.  
Прожил — и пусто, как после ластика.

---

Ты столько вытер идей и страсти,  
а был ведь живой, был азартом счастлив...

Взгляни, как рядом жмут желваки  
инициативные мужики!

Ты ж трусишь, раздувшись поперх рейтуз —  
пиковый, для всех несчастливый рай-туз...

1984

## РИМСКИЙ ПЛЯЖ

По пляжу пиджачно-серый  
идет отставной сенатор.  
За ним сестра милосердия носит дезодоратор.  
И Понтом Аквинским смыло  
в путевочном море толп  
заискивающую ухмылку и лоб,  
похожий на боб.  
«Сик транзит gloria мунди».  
Народ вас лишил мандата.  
Где ваши, сенатор, люди?  
Исчезли, урвав караты.  
Склерозная мысль забыла  
приветственные раскаты,  
когда вы свою кобылу  
вводили под свод сената.  
Мы с вами были врагами.  
Вы били меня батогами.  
Сейчас я по скользкой гальке  
подняться вам помогаю.  
И встречу сквозь воды Вечности  
спеленутый в полотенца  
становящийся человеческим  
замученный взгляд младенца.

1983

**ШТИЛЬ**

Вторую ночь без всякой дрожи  
под круглой красною луной  
отвесно врезана дорожка  
неумолимою рукой.

Ты говоришь: «То зодчий ада,  
чтобы задумалась толпа,  
нас тешит планом и фасадом  
огненновидного столба».

1982

## ТРИ СКРИПКИ

Скрипка в шейку вундеркинда  
вгрызлась, будто вурдалак.  
Детство высосано. Видно,  
жизнь, дитя, не удалась!

Век твой будет регулярным.  
Вот тебя на грустный суд,  
словно скрипочку в футляре,  
в «скорой помощи» везут.

А навстречу вам, гуляя,  
вслушиваясь в тайный плод,  
тоже скрипочкой в футляре  
будущая мать идет.

1982

## ЛАСТОЧКИ

На май обрушились метели.  
Проснулся — ласточек полно.  
Две горных ласточки влетели  
в мое окно. Мое окно  
они открыли, леденя —  
небесно-бедственная весть!  
Теперь сидят на батарее,  
высокомерничают есть,  
бесстыдничают в оперенье,  
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,  
искать жемчужное зерно.  
К их клювикам-малокозыркам  
явилась третья сквозь окно.  
Она, как чьи-то мысли дальние,  
часами может замирать.  
На лоб оконничный спадает  
крыло ненужное, как прядь.

Я только выпустил три тома.  
И вот сигнал, что кто-то их  
там прочитал в мирах бездонных  
и мне отправил три своих  
Чем отдарю я дар твой тихий  
и это счастье повидать,

---

как треугольные плавчихи —  
из угла в угол и опять —  
сто верст пытаюсь налетать,  
перекрестили красотою  
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках  
как бог Гермес. И все синё!..  
Пока они не улетели,  
я делал с них фотоэтюд.  
Я улетел через неделю.  
В квартире ласточки живут.

1984

# Поэтарх

---

Поэма

1

Как бы ни ярился сегодняшний Плутарх,  
но ко мне явился  
Поэтарх.

Он был в летах  
предвоенного Пастернака,  
дух, ищущий форму, сполох мрака.

Он шел, прогнув горизонт за Мамонтовкой.  
Я его чувствовал потрохами.  
Державин и Пушкин, строя памятники,  
были первыми поэтархами.

А в глубинное золотого взгляда  
Данте глядел, архитектор ада.

Электричеством тряхонуло.  
Он сказал мне: «Литература,  
мысль изреченная — утомлена.  
Тебе трудно. Мне архитектурно.  
Я — поэтическая архитектура.  
Я тебя выбрал.  
Выстрой меня».

Жизнь моя кончилась с этого дня.

(Струны, как стропы, струились сверху,  
снизу же ни опор — ничего.  
Поэтическая атмосфера  
сферу поддерживала его.)



---

Живу в лачуге патриархальной.  
Поэтархальны мои запросы.  
Латунный шарик-модель порхает,  
поддутый трубкой от пылесоса.

И распускаются над ним нити.  
И в небе откликнутся струны арф.  
В это мгновение — извините —  
ко мне является Поэтарх.

||

Зачем посещаешь меня, Поэтарх?  
Что-то не так? Что-то не так?  
Зачем освещаешь мой темный этап?  
Ты — жадное солнце. Я — жалкий пятак.

Моя ли вина, что в подлунном краю  
две силы боролись за душу мою?  
Небесна — одна, а другая — земна.  
Несоединимое соединю.

Две музы летели — добра или зла, —  
и каждая правду свою несла.  
Одна на лире сводила с ума.  
Другая сработала лиру сама.

Я юность в земную науку вдолбил,  
своей золотою свободой обил.  
Я дом спалил и развеял прах.  
Тебе недостаточно, Поэтарх?

А вдруг, Агасфер, обманул глазомер?  
Модель удавалась на первых порах.  
Врага пригвоздил, чтобы серой не пах.  
Но где же разгадка твоих атмосфер?

Где воздуха взять в загазованный час?  
Не помню, не помню в столетье каком  
поэт розу с жабой хотел повенчать?  
Повис между полом и потолком.

---

Бил мой молоток. И стучал в потолок  
сосед. Я был бог. Я обшивку толлок.  
Сломав молоток, я прервал монолог.  
Спустился сосед: «Возьми мой молоток».  
Он принял глоток и ушел в потолок.

А рядом стояли года и дни,  
и чьим-то прообразом были они.  
И зданье сирени в махровых цветах  
воздвиг неведомый Поэтарх.

Я дверь отворил. Я прошел на балкон.  
Он был на уровне облаков.  
Попробовал воздух — был крепок как пол.  
Та дверь была меньше. Я дальше прошел.

Я шел по открытым дверям анфилад.  
В мужском туалете мыл руки Пилат.  
Мерцали таблички и справа и слева:  
«Власть», «Слава», «Котельная атмосферы».  
Спросили, дыша фимиамом и серой:  
«Чего тебе?»  
Я сказал — «атмосферы!».

Откройте! Я не был большим человеком,  
но я — атмосфера двадцатого века,  
глоток городской, загрязненной донельзя,  
но все же — поэзии.

Меня очищали, ловили ушами,  
но все же — дышали.  
Как врач говорю, проходя общежитье:  
дышите! дышите! дышите!

Как мне хочется во всех сферах  
поэтической атмосферы!  
Дома, в обществе ли — душевных  
поэтических отношений.

Хочет даже шавка ошейная,  
даже волк, политически серый,  
человеческого отношения,  
поэтической атмосферы,

---

Кто-то в точку опоры верил,  
для меня она — атмосфера.  
Все таланты по Демосфену  
погибают без атмосферы.

Воду горную лет на тыщи  
запечатывают в консервы.  
Так хранится в четверостишье  
глоток пушкинской атмосферы.

Дайте каждому атмосферы  
от рассвета и без отсева —  
сердцу малому, странам целым,  
без предвзятости осовелой.  
Чтоб дышала донизу сверху  
поэтическая атмосфера!

Если нет ее — задыхаюсь.  
Я хочу, чтобы ею дышал  
ей поддерживаемый над хаосом,  
поэтический земной шар.

### III

Но помнится — я поломал молоток.  
Спустился сосед. И с обшивкой помог.  
Сказал мне: «А твой «Пахтакор» — молоток».  
И шарик повис, как в стакане желток.

Спустилась соседка — дай шар поддержку!  
И помолодела, как сняв паранджу.  
И кот на помойке сказал: «Покажу  
я стрелочку компаса в желтом глазу».

Сокурсник нашел и помог в монтаже,  
ошибка в душе, а не в чертеже.  
Да здравствует дружба, которой талант  
нас держит невидимый, но Атлант!

Я мистику бросил. Прошел на балкон,  
Он был на уровне облаков.

---

Попробовал воздух — был крепок как пол.  
Над городом я, как по трапу, прошел.

По стрелочке компаса передо мной  
я вышел, где жмурился шар золотой.  
Уже в конце трапа по арфам в дверях  
почти понимал, что вхожу в Поэтарх.

Сидела ты там, непростенный мой грех,  
тетрадку стихов под себя записав,  
и щеткою волосы впопыхах  
от шеи зачесывала наверх.  
И пели в них струны небесные арф.  
Так вот чьей моделью ты был, Поэтарх!

Упала тетрадка. Но не Петрарка  
был автор первого Поэтарха:

#### ПАМЯТНИК

Я прожил, как умел. На слове не ловите!  
Но, видно, есть в стихе свобода и металл.  
Я врезал в небеса земные алфавиты.  
Мой памятник — летал.

И русский и француз,  
в Нью-Йорке и на Дальнем  
пусть скажут: «Был поэт, который кроме книг  
не в переносном смысле, а в буквальном  
нам памятник воздвиг».

Я бросил тетрадку. Все бабьи дела!  
По куполу, вывинтив ножку стола,  
Я врезал! Я рушил ошибку. Сбивал  
обшивку. И сыпались звезды в провал.  
Свобода вылупливалась из скорлупы.  
Луни за прозренье, за глупость луни!

Кретину треногому в пах угодил.  
Он рухнул. Конструкции выли: «Добей».  
Сочтемся, кастрюлька, тебя я родил!

---

Шло самоубийство идеи моей.  
Все перекроив, я упал как дурак.  
Вокруг неведимо стоял Поэтарх.

«Готовы?» И я понимал, что летим.  
И сразу все стало внизу золотым.

Несло в неопознанном измерении,  
где чувства реальней, чем море и время.

Над огородами пролетали мы —  
уроды делались идеалами.

Под нами раскаивались убийцы,  
и обнимались все и любились.

Где раньше чернели неурожай,  
как отсветы шара, пшеницы лежали.

Мы плыли по ненависти столетий,  
и дикие лебеди бредили Ледой.

Из смертных морей, кто устал через край,  
мы брали в ковчег, точно зайцев Мазай.  
Соседи. И кот. И сокурсник верный.  
И враг, отложивший баллоны с серой.

От светлых дел и печальных дел  
по шару своя набегала тень.

Две силы летят — ни добра, ни зла, —  
и каждая правду свою несла.  
Одно полушарие золотое,  
другое — легкое, теневое.

Одна, как песнь, ушла за водою,  
другая тайно осталась дома.  
Одно полушарие золотое,  
другое — легкое, теневое.

---

Но почему душа заколола?  
Летим над Невоею или виною?  
Одно полушарие золотое,  
другое — легкое, тeneвое.

Но солнце одно. И, гонясь за собою,  
они никогда не сольются, двое.  
Одно полушарие наплывает,  
а то, получается, убывает.

Алтушка - жизнь. Не дрожу над сором.  
Но улетает. — держите вора! —  
одно полушарие золотое,  
другое — легкое, тeneвое.

За что это нам? Ни за что. За то ли,  
что это не жизнь, а уже иное? —  
одно полушарие золотое,  
другое — легкое, тeneвое.

Как сладко лететь! И как тайно знать —  
по струнам сейчас пробежала мать.

#### IV

Так вот для чего я губил пылесос.  
Провел полжизни в аэропортах.  
Великим народам кричал в лицо —  
осуществите Поэтарх!

Я слышал в ответ изреченную мысль,  
я беспокоил зодчих земли.  
Твердил себе — торопись, не уймись,  
покуда варвары не пришли.

Не в смысле того, что проект без затрат,  
но он отношений иных дубликат.  
За Матриархато-Патриархатом  
я вижу эру — Поэтархат.

Там зданья стоят на воздушных столбах,  
из горного воздуха стилобат.  
Там люди добры, как сегодня пора б.  
Я вашей свободы сегодняшней раб.

Мы жили, чтоб жизнь поэтично-чиста.  
Пусть люди живут в облаках на лету.  
Мир, как известно, спасет Красота.  
Если мы сами спасем Красоту.

v

В стране Бояна или Артюра,  
уже не помню какого дня —  
«Я — поэтическая архитектура, —  
он сказал мне, — выстрой меня!»

Но отвечивал я бедняге:  
«Дуй на Щусева. Здесь СП.  
Мы союзов не объединяли».  
Повернув, он пошел к себе.

Я за ним побежал, но ах... —  
«Поэтарх, — кричал, — Поэтарх!..»

1982

# Безотчетное

---

## МОНОЛОГ ВЕКА

Приближается век мой к закату —  
ваш, мои отрицатели, век.  
На стол карты!  
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:  
принимать его или как? —  
век мой, в сущности, осуществился  
и стоит как кирпич в веках.

Называйте его уродливым.  
Шлите жалобы на творца.  
На дворе двадцатые годы —  
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.  
Свет рассветный — закатный снег.  
Человечья доля смиренная —  
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный  
инженера русского сын  
из ворот Золотых Владимира.  
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,  
как за горести бытия  
дикари дубасили бога.  
Специален бог для битья.



---

Века Пушкина и Пуччини  
мой не старше и не новей.  
Согласитесь, при Кампучии —  
мучительней соловей.

В схватке века с активной теменью  
каков век, таков и поэт.  
Любимые современники,  
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,  
пока будет земля Землей,  
я не знаю, конечно, сколько,  
но одно понимаю — мой.

1979





## ПЕРВЫЙ АВТОБУС

К шестичасовому сподобясь,  
спиной ощущая страну,  
я в загородном автобусе  
заутреню отстою.

Автобус дыханьем натопится,  
и буду я в угол забит,  
когда вся округа в автобусе,  
как лошади, стоя спит.

О чем ты забылся, биндюжник,  
как кариатид в уголке?  
Но сон твой капелью жемчужной  
остался на потолке.

На утренних лицах помятых,  
как выпуклы книги слепых,  
такое я понимаю,  
как будто я сам их слепил.

Спи, рыжая, ахнув на рытвинах.  
Чей муж тебе снится в пути?  
Старуха с глазами открытыми,  
еще полчаса тебе, спи.

Что снится торгашке спрессованной,  
вздыхнувшей, как кодекс почти:  
«Имейте, товарищи, совесть!»  
Спи, совесть автобуса, спи,

---

Навеки уже не расстаться  
с объявшею жизнью земной,  
когда не осталось пространства  
меж жизнью чужою и мной.

В тумане буханкою хлеба  
автобус ползет, как слепец.  
Ломтями пшеничного света  
свет окон ложится на лес.

Не видел я спящих царевен,  
висящих в хрустальном лесу,  
но видел, как спит современница  
в автобусе на весу.

Подняв кулачок, как свобода  
с картины Делакруа,  
сжав поручень над проходом,  
спокойно и гневно спала.

Виденья вчерашних загулов  
твои утомляли черты.  
О чем ты над нами вздохнула?  
И большее что-то, чем ты...

Как поднятый лебедь за шею,  
на белой ручонке висишь.  
И я объяснить не сумею,  
какая великая тишь,

какая свобода настала,  
похожая на обряд,  
когда, чтобы ты не упала,  
прижав тебя, жизни стоят.

Не видел я, как ты вышла.  
Наверно, проспала, летя.  
И вытащил кто-то сквозь крышу  
за белую руку тебя.

А тот, кто не встал пред тобою  
и места не уступил,  
лишился не только свободы —  
спасенье души упустил.

**БЕЗОТЧЕТНОЕ**

**Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,  
но не изменяйте чувству безотчетному!**

**Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,  
тайное отечество безотчетное.**

**Женщина замешана в нем темноочевая,  
ты — мое отечество безотчетное!**

**Гуси ль быстротечные вытянут отточие —  
это безотчетное, это безотчетное,**

**осень ли настояна на лесной рябине,  
женщины ль постукают четками грибными,**

**иль перо обронит птица неученая —  
как письмо в отечество безотчетное...**

**Шинами обуетесь, мантией почетною —  
только не обучитесь безотчетному.**

**Без него вы маетесь, точно безотцовщина,  
значит, начинается безотчетное.**

---

Это безотчетное, безотчетное  
над рискованной пропастью вам пройти  
нашептывает...

Когда черти с хохотом  
вас подвешат за ноги,  
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под  
занавес.

— Дайте света белого,  
дайте хлеба черного  
и еще отечество безотчетное!

1979

## НЕДОПИСАННАЯ КРАСАВИЦА

Ф. Абрамову

Где холсты незабудкой отбеливают,  
в клубе северного села  
дочь шофера записку об Элиоте  
подала.

Бровки, выгоревшие, белые,  
на задумавшемся лице  
были словно намечены мелом  
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза — написаны сильно  
на холщовом твоём лице —  
смесь небесного и трясины —  
говорили о красоте.

Недописанная красавица!  
Будто кто-то, начав черты,  
испугался, чего касается,  
и бежал твоей красоты.

В тебе что-то от нашей жизни  
с непрописанною судьбой,  
что нуждается в некоей кисти,  
чтоб себя осознать самой.



---

Телевизорная провинция!  
Ты себя еще не нашла.  
И какая в тебе предвидится  
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,  
чьи бревенчатые шатры  
нынче сумерничают с да Винчи,  
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал как обод,  
снятый с местного силача.  
И на швах готовые лопнуть  
джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!  
Темноликие земляки.  
Но ресницы их белыми были —  
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,  
подпирающая косяк,  
и стояла в ней боль пронзительная —  
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, бляло.  
Рождество намечалось в них.  
И тревожился не об Элиоте  
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток  
мучил женщину наших дней.  
Вся — набросок!  
Жизнь, пошли художника ей.

## НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,  
глядь, невезуха,  
за занавесками бумазейными —  
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,  
был бы Везувий —  
нет, вазелинное невезение,  
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,  
губят фальстарты —  
не ожидать же год на карачках,  
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора,  
серого эха.  
Не обижаюсь. И не подумаю.  
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение,  
в патлах, по стенке.  
Ну полетала бы, что ли, на венике,  
вытаращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,  
что ты из смирной,  
бросив людские углы и семейные,  
стала всемирной?

---

Что за такая в сердце разруха,  
мстящая людям?  
Я не покину тебя, невезуха.  
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!  
Как ты взглянула,  
косу завязывая резинкой  
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!  
Только там тесно.  
Как хороши у людей невезучих  
тихие песни!

1979

## СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,  
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.  
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,  
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна  
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.  
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —  
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.  
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —  
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.  
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.  
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.  
Судьба, береги его в пути,

1979

## ТРУБАДУРЫ И БЮРГЕРЫ

Пусть наше дело давно труба,  
пускай прошли вы по нашим трупам,  
пускай вы живы, нас истребя,  
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты  
какой божественною остудой  
в нас прорыдала труба Судьбы!  
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,  
что ваши женщины от нас в отрубе,  
но проходили мы сквозь толщу стен,  
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,  
подкрались нежные душегубы,  
мы лишь успели стряхнуть слюну...  
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».  
Вы были правы, нас растоптавши.  
Вы заселили все кубатуры.  
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе  
в звуконепроницаемых срубках,  
что вы завидуете трубе?  
Живите, трупы. Зовите, трубы!

---

ВЫСТАВКА  
«МОСКВА — ПАРИЖ»

Москва минус Париж? Пойдите отнимите!  
Париж минус Москва?  
Пикассо с Родченкой курил на динамите.  
И от Москвы в Москве кружится голова.

Как я люблю Москву Лентулова пернатого!  
Трепещет, как крыло, из перышков мазка.  
Восьмидесятые минус двадцатые?  
Москва минус Москва?

Не вычесь из тебя, Москва, болотным  
кваканьем  
года твоих голгоф, прозрений, голодух.  
Над любопытными дохнул великий вакуум  
и коммунальных аввакумов дух.

За этот дух расплачиваясь шкурой,  
интеллигент из благостных крестьян  
западноевропейскую культуру  
брал на лету, как голую Дункан.

В истории нельзя забыть ни доли сотой.  
Комбинезончик твой — осиная модель.  
Настояны судьбой филоновские соты.  
Как Хлебников помолодел!

---

Спасибо. Не прощаюсь. Пожелаю  
занять места на выставках, в музеях и мозгах.  
В Коровине, московском парижанине,  
импрессионизирует Москва!..

Кому-то это минус или примесь.  
Подброшен как мишень бубновый черный туз,  
Фломастером вооружусь.  
Я на афише переправлю минус  
на плюс.

1981

## ИНСТРУКЦИЯ

Во время информационного взрыва,  
если вы живы,—  
что редко,—  
накрывайтесь «Вечеркой» или районным  
«Призывом»  
и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва  
нет пива,  
нет рыбы, есть очередь за чтивом.  
Мозги от черного детектива  
усыхают как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,  
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,  
суждены им благие порывы,  
но  
свершить ничего не дано,  
они играют в подъездах трио,  
уходят в домино  
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!  
Человечество утроилось.  
Информированные красотки  
перешли на запоминающее устройство.



---

Музыкальные браконьеры  
преодолевают звуковые барьеры.  
Многие трупы  
записываются в тургруппы.

Информационные графоманы  
пишут, что диверсант Румянов,  
имя скрыв,  
в разных городах путем обманов  
подготавливает демографический взрыв.

Симптомы:  
тяга к ведьмам, спиритам и спиритному.

Выделяется колоссальная духовная энергия.  
Вызывают дух отца Сергия.  
Над Онегою  
ведьмы в очереди зубоскалят —  
почему женщин не берут на «Скайлэб»?

Астронавт NN к полету готов,  
и готов к полету спирит Петров.

Как прекрасно лететь над полем  
в инфракрасном плаще с подбоем!

Вызывает следователь МУРа  
дух бухгалтера убиенного.  
Тот после допроса хмуро  
возвращается в огненную геенну.

Над трудящимися Севера  
писательница, тепло встреченная,  
тарахтит как пустая сеялка  
разумного, доброго, вечного...

---

Умирает век — выделяется его биополе.  
Умирает материя — выделяется дух.  
Над людьми проступают идея и воля.  
Лебединою песней летит тополиный пух.

Я, один из преступных прародителей  
информационного взрыва,  
вызвавший его на себя,  
погибший от правды его и кривды,  
думаю останками лба:

Мы сами сажали познанья яблони,  
кощунственные неомичурины.  
Нам хотелось правды от бога и дьявола!  
Неужто мы обмишурились?

Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны,  
извините издержки наших драк.  
Но в прорывы бума вошел феномен —  
миллионные Цветаева и Пастернак.

Что даст это дерево взрыва,  
привитое в наши дни  
к антоновскому наиву  
читающей самой страны?

Озерной, интуитивной,  
конкретной до откровенья...  
Голову ампутуйте,  
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!  
Сломанные судьбы — издержки игр.  
Мы с тобой погибли от информационной  
войны.  
Информационный взрыв — бумажный тигр.





- Вы читали? — задавили Челентано!
- Вы читали, на эстраде шарлатаны?
- Вы читали, в президенты кого выбрали?
- Не иначе, это Джуна. Чую фибрами.
- В одной школьнице во время медосмотра обнаружили Людовика Четвертого!  
Начиталась. Наглotalась эпохально...
- Вы читали? — биополе распахали.
- Если хочется вам криночку коровьего,  
о нем можно прочитать у Григоровича.
- Мы до дырок Окуджаву зачитали.  
Вы видали? Шел потертый... Мы в печали.
- Вы считали, с кем жила Анна Андревна?
- А с кем не жил Александр Блок, считали?
- Вы считаете Москву большой деревней?
- Нет. Но я люблю ее, избу-читальню.

## СОБАКА

Р. Паулсу

Каждый вечер въезжала машина,  
тормозила у гаража.  
Под колеса бросалась псина,  
от восторга визжа.

И мужчина, источник света,  
пах бензином и лаской рук.  
И машина — друг человека,  
и собака, конечно, друг.

Как любила она машину!  
Как сияли твои глаза!  
Как твою золотую спину  
озаряло у гаража!

Но вторую уже неделю  
не въезжает во двор мотор.  
Лишь собачьи глаза глядели,  
изнывая, через забор.

Свет знакомый по трассе несся.  
И собака что было сил  
с визгом бросилась под колеса,  
но шофер не притормозил.

## ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Не называйте его бардом.  
Он был поэтом по природе.  
Меньшого потеряли брата —  
всемирного Володю.

Остались улицы Высоцкого,  
осталось племя в «леви-страус»,  
от Черного и до Охотского  
страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дерном  
растет толпа вечноживая.  
Ты так хотел, чтоб не актером —  
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково  
могила вырыта вакантная.  
Покрыла Гамлета таганского  
землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...  
Все, что осталось от Высоцкого,  
магнитофонной расфасовкою  
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,  
любовь российская и рана.  
Ты в черной рамке не уместисься.  
Тесны тебе людские рамки.

---

С какую страшной перегрузкой  
ты пел Хлопушу и Шекспира —  
ты говорил о нашем, русском,  
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами  
в бумагах тленных и мелованных.  
Певцы останутся певцами  
в народном вздохе миллионном...

1980



Наверно, ты скоро забудешь,  
что жил ты на краткой земле.  
Историю не разбудит  
оборванный крик шансонье.

Несут тебе свечки по хляби.  
И дождик их тушит, стуча,  
на каждую свечку — по капле,  
на каждую каплю — свеча.

1980



## УСТЬЕ

1

Где я последние дни ни присутствую,  
по захолюстьям жизни забитой —  
будто находишься в устье предчувствий,  
переходящем в море событий.

Все, что оплакал, сбывается бедственно.  
Ночью привидится с другом разлука.  
Чувство имеет обратное действие.  
Утром приедешь — нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.  
О, не летайте тем самолетом!  
Будто сначала пишется реквием,  
а уж потом все идет как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.  
Думать опасно.  
Только подумая, что ты порежешься,—  
боже! — вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.  
Самая мысль вызывает крушенье.  
Только не думайте перед вылетом!  
Не сомневайтесь в друге душевном!

---

Не сомневайтесь, не сомневайтесь  
в самой последней собаке на свете.  
Чувством верните ее из невнятиц —  
чтоб не увидеть ногтей синеватых —  
верьте...

2

Шел я вдоль русла какой-то речушки,  
грустью гонимый. Когда же очухался,  
время стемнело. Слышались листья:  
«Мы — мысли!»  
Пар подымался с притоков речушки:  
«Мы — чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.  
Степь начиналась. Идти стало трудно.  
Суслик выглядывал перископом  
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море —  
как повторенье гравюры забытой —  
фантазмагория на любителя! —  
волны людей были гроздьями горя,  
в хоре утопших, утопий и мора  
город порхал электрической молью,  
трупы истории, как от слабительного,  
смыло простором любви и укора.  
Море моею питалось рекою.  
Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,  
будто на ствол крона шумного лета,  
или на руку боксера перчатка,  
или на флейту Моцарт печальный,  
или на душу тела личина —  
чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,  
в устье предчувствий —  
там, где речная сольется с мирскою,  
выпей из устья!»

---

Видишь, монетки в небе мигают.  
Звезды зовутся.  
Эти монетки бросил Гагарин,  
чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?  
Или замкнулся с душой мировой?  
Что за собачья эта кручина —  
чуть, вернее, являться причиной?..  
И окружающим мука со мною.

1980

## РАЗМОЛВКА

Это ни на что не похоже!  
Ты топчешь сапожками пальто.  
Ты не похожа на бешеную кошку.  
Ты не похожа ни на что.

Твоя нежность не похожа на нежность.  
Ты швыряешь чашки на пол, на стол.  
Ты не похожа на безрукую Венеру.  
Ты не похожа ни на что!

За это без укоризны,  
и несмотря на то,  
зову тебя своей жизнью.  
Все не похоже ни на что.

Брат не похож на брата,  
боль не похожа на боль.  
Час отличается от часа.  
Он отличается тобой.

Море ни на что не похоже.  
Дождь не похож на решето.  
Ты все продолжаешь? Боже!  
Ты не похожа ни на что.

---

Ни на что не похожа тишина свободы.  
Вода не похожа на горячую кожу щек.  
Полотенце не похоже  
на стекающую  
со щек воду.  
И совсем не похож на неволю  
накинутый на дверь крючок.

1980



Ты живешь до конца откровенно.  
И от наших запутанных дней  
два стежка проступили над веной,  
слава богу, над ней.

И чем больше рука загорает  
и откинется в счастье рука,  
все яснее на ней проступают  
два спокойных и скользких шнурка.

1980

## ИМЕНА

Да какой же ты русский,  
раз не любишь стихи?!  
Тебе люди — гнилушки,  
а они — светляки.

Да какой же ты узкий,  
если сердцем не брат  
каждой песне нерусской,  
где глаголы болят...

Неужели с пеленок  
не бывал ты влюблен  
в родословный рифмовник  
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный  
повенчал имена:  
Марья Илларионовна,  
Злата Юрьевна.

Ты, робя, окликнешь  
из имен времена,  
словно вызовешь Китеж  
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой  
позовет из окна  
колокольню-нездешне:  
Ольга Игоревна,

---

Эти святцы-поэмы  
вслух слагала родня,  
словно жемчуг семейный  
завещав в имена.

Что за музыка стона  
отразила судьбу  
и семью и историю  
вывозить на горбу?

Словно в анестезии  
от хрустального сна  
имя — Анастасия  
Александровна...

1979



## КРИТИКУ

Не верю я в твое  
чувство к родному дому.  
Нельзя любить свое  
из ненависти к чужому.

1979



Я так считаю. А кто не смыслит —  
ходи в читальню.  
Есть у поэзии и эта миссия,  
я так считаю.

1979



Когда я слышу визг ваш шкурный,  
я понимаю, как я прав.  
Несуществующие в литературе  
нас учат жить на свой устав.

Меж молотом и наковальней  
опять сутулюсь на весу.  
Опять подковой окаянной  
кому-то счастье принесу.

1979

## МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень  
меж яблоков печеных,  
а утром пробегу —  
монахиною моря в мохнатом капюшоне  
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,  
читаешь километры.  
Твой треугольный кроль  
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,  
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанции.  
Желание растет.  
Как море ни имеешь — его все недостаточно.  
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящики  
с шампанским  
серебряноголовые — как кулачок под дых,  
голая монахиня бесшабашная,  
бросаешься под них!

---

Бледнея под загаром,  
ты выйдешь из каскадов.  
Потом кому-то скажешь, вернувшись в города:  
«Кого любила? Море...»  
И все ему расскажешь.  
За время поцелуя  
отрастает борода.

1980

## МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,  
над черною астрой с прическою «афро»,  
что в баре уснула, повиснув на друге,  
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее, спящую, в туалеты.  
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»  
На кафеле корчилось и темнело  
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,  
целую плечо твое в мокром батисте.  
Отдай мне свое естество откровенно,  
освободись же, освободись же

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,  
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,  
от жизни, промчавшейся и неминучей,  
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,  
тебя омываю, как детство и роды,  
ты, может, единственное естественное —  
поступок свободы и воды заботы,

в колечках прически вода западает,  
как в черных оправах напрасные линзы,  
подарок мой лишний, напрасный подарок,  
освободись же, освободись же,

---

освободи мои годы от скверны,  
что пострашней, чем животная жижа,  
в клоаке подземной, спящей царевной,  
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.  
И не было тела светлей и роднее,  
чем эта под кран наклоненная шея  
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979

## ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА

Лягу навзничь — или это нервы?  
От земного сильного огня  
тьень моя, отброшенная в небо,  
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая черная береза!  
Видно, в Новой Англии росла.  
И ее излюбленная поза —  
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Иерусалима  
холмы Новой Англии близки.  
Белыми церковками над ними  
память завязала узелки.

В черную березовую рощу  
заходил я ровно год назад  
и с одной, отбившейся от прочих,  
говорил — и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,  
вам привет от северных сестер...»  
Но она спокойно и бессонно,  
не ответив, надо мной растет.

## БЕЛАЯ

Опять за сердце хватанула  
берез разрозненных толпа —  
протяжные клавиатуры,  
поставленные на попа.

Как будто отклеился клавиш,  
отставши, береста дрожит.  
И все, что в жизни не поправишь,  
в ней прорывается навзрыд.

Ты помнишь эти вертикали?  
Изнанка медная гриба  
с названьем «заячья губа»  
прозеленела, как педали.

Как вседоступно одинока  
судьба избранниц областных,  
перо сороки на дороге  
опять, как клавиш, обронив!

Одна из них была редчайшей,  
непостижимая опять.  
Наверно, надо быть летящим,  
чтоб снизу вверх на ней сыграть.

Когда до неба трепет тайный  
по ее телу пробежал —  
к ней ангелом горизонтальным  
полночный Рихтер прилетал,



---

P. S.

Ее за это, зыркнув косо,  
на землю свалит дровосек.  
В Консерватории на козлах  
она кричит как человек.

То, что для нас — аппаратура,  
ей — как пила и топоры.  
Ты пальцы бы ополоснула  
после игры, после игры...

1979



У края поля, в непроглядном веке  
ты прислонилась к темному стволу,  
как белая струна натянута на деку.  
Ты чувствуешь, что рядом я стою.

Я не стреножил жизнь твою и волю,  
у алтаря не брал руки твоей.  
Нас обручило дышащее поле  
и твой алтарь дыхательных путей.

Не станет нас. Ты белое относишь.  
Относишь жизнь упругую и стать.  
Но ты была струной горячего озноба.  
Над полем будешь продолжать дрожать.

1981

## БАЛЛАДА

Я сегодня приду  
и спокойно скажу,  
что двадцатый окончился век.  
Свои книги сожгу,  
твои платья сложу,  
«Мы свободны,— скажу,— без помех».

Отключится вода,  
и включится звезда,  
и забьешься ты в пляске своей.  
Частым жабрам под стать  
будут воздух хватать  
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты  
заскользит, словно шрам,  
след резинки над животом.  
Я увижу, что ты —  
пополам, пополам —  
в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям —  
гости все пополам,  
перерезаны в пояс столом.

---

Каждый в веке своем  
мы по пояс живем,  
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» —  
ты ответишь под смех.  
Современники дискотек  
будут в пол нам стучать  
и напомнят опять,  
что бессмертен XX век.

1980



---

Над батареею отопленья  
крутился Чайковский, трактуемый Геной  
Рождественским. Шар умолял его в небо  
выпустить. В небе гроза набрякла.  
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:  
будто проветривали помещенье —  
мысль, что предшествовала творенью,  
страсть, что предшествовала творенью,  
тоска, предшествующая творенью,  
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.  
Была улыбка — не было тела.  
Мысль о собаке лизала колени.  
Мыслью о море стояла аллея.  
Мысль о стремянке, волнуя, белела —  
в ней перекладина, что отсутствовала,  
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.  
Мысль о яблоке катилась с тарелки.  
Мысль о тебе стояла на тумбочке.  
«Как он любил ее!» — я подумал.  
«Да», — ответила из передней  
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.  
Вышла студенткой. Лет было мало.  
Гения возраст — в том, что он гений.  
Верила, стало быть, понимала.  
Как он ревнует ее, отошедши!  
Попробуйте душ принять в его ванной —  
душ принимает его очертанья.  
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний  
Чайковский. В мелодии были стоны  
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,  
осень стояла. Дом конопатили.

---

Шар об известку терся щекою.  
Мысль обо мне заводила Чайковского,  
по старой памяти, над парниками.  
Он ставил его в шестьдесят четвертом.  
Гости в это не проникали.  
«Все оправдалось, мэтр полуголый,  
что вы сулили мне в стенах шершавых  
гневым затмением лысого шара,  
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.  
Сохла сомнительная малина.  
Только одно не имело сомненья —  
мысль о бессмысленности творенья.  
Цвела на террасе мысль о терновнике.  
Благодарю вас, мэтр современный!  
Что же есть я? Оговорка мысли?  
Грифель, который тряпкою смыли?  
Я не просил, чтоб меня творили!  
Но заглушал мою говорильню  
смысл совершаемого творенья —  
ссылка на Бога была б трафаретной —  
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.  
Яблок было — греби лопатой!  
Я на коленях брал эти яблоки  
яблокопада, яблокопада.  
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам  
дубасили, как кулаки прохладные.  
Я хохотал под яблокопадом.  
Не было яблонь — яблоки падали.  
Связал рукавами рубаху казнимую.  
Набил плодами ее, как корзину.  
Была тяжела, шевелилась, пахла.  
Я ахнул —  
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,  
из праха — великую, беспризорную!

---

Под правым белком, косящим набок,  
прилипла родинка темным зернышком.  
Был я соавтором сотворенья.  
Из снежных яблок там во дворе мы  
бабу слепляем. Так на коленях  
любимых лепим. Хозяйке дома  
тебя представил я гостьей якобы.  
Ты всем гостям раздавала яблоки.  
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,  
моя стеснительная сенсация.  
Среди диванов глаза просили:  
«Сенца́ бы!»  
Откуда знать тебе, улыбавшейся,  
в рубашке, словно в коротком платье,  
что, забывшись, влюбишься, сбросишь  
и как шары по земле раскатишься!.. рубашку

Над автобусной остановкой  
туча пахла, как мешок с антоновкой.  
Шар улетал. В мире было ветрено.  
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,  
на одиночестве колких дерюжиц?  
И пронеслось в вашем сознании:  
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,  
что я случился частью твоею,  
моря и суши, сада в Тарусе,  
благодарю за то, что даруешь,  
что я не прожил мышкой-норушкой,  
что не двурушничал с тобой, время,  
даже когда ты мне даришь кукиш,  
и за удары остервенелые,  
даже за то, что дошел до ручки,



---

даже за это стихотворенье,  
даже за то, что завтра задуешь,—  
благодарю тебя, что даруешь  
краткими яблоками коленей!  
За гениальность твоих натурщиц,  
за безымянность твоей идеи...  
И повторяли уже в сновиденье:  
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.  
Вы уезжали. Собаки выли.  
Не посещайте художника после кончины,  
а навещайте, пока вы живы.

1981

# Рама

---



Был бы я крестным ходом,  
я от каждого храма  
по городу ежегодно  
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы  
и попадали б в раму  
то святая береза,  
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту  
женщина, со свиданья  
опаздывающая на работу,  
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы  
видела б святую правую.  
А та, в золотой оправе,  
глядя на нее, плакала бы.

1980

## ДОЗОРНЫЙ ПЕРЕД ПОЛЕМ КУЛИКОВЫМ

Один в поле воин.  
Раз нету второго,  
не вижу причины откладывать бой.  
Единственной жизнью  
прикрыта дорога.  
Единственной спичкой гремит коробок.  
Один в поле воин. Один в небе бог.

Вас нет со мной рядом,  
дозорных отряда.  
Убиты. Отправились в вечный покой.  
Две звездочки сверху  
поставите свечкой  
тому, кто остался доигрывать бой.

Дай смерти и воли,  
волшебное поле.  
Я в арифметике не силен.  
Не красть вам Россию,  
блатные батыи.  
И имя вам — свора, а не легион.

И слева и справа  
удары оравы.  
Я был одинок среди стужи ночной.  
Удары ретивы —  
теплей в коллективе!  
И нет перспективы мне выиграть бой.

---

Нет Сергия Радонежского с тобою.  
Грехи отпустить  
и тоску остудить.  
Один в поле воин, но если есть поле —  
то, значит, вас двое,  
и ты не один.

Так русский писатель — полтыщи лет после,  
всей грязи назло —  
попросит развеять его в чистом поле  
за то, что его в сорок первом спасло.

За мною останется поле великое:  
и тысячелетия побед и невзгод.  
Счастливым моим, перерезанным криком  
зову тебя, поле!  
Поле придет.

1980

## САЙГАК

В. Орлову

Ему хотелось воли и заката.  
Его машиной гнали, как скоты.  
По загнанному профилю сайгака  
увидел я прекрасные черты.

Лежал поэт, как страшная загадка,  
столетье от которой не уйдешь.  
По загнанному профилю сайгака  
прошла любви и отвращенья дрожь.

Не поминайте его имя всуе.  
Меж ваших зачумленных жемчугов  
бензин я чую, вижу степь пустую,  
и бег, и горизонт без берегов.

1979

## У МОРЯ

Ты вышла на берег и села со мною,  
спиною шурша.  
Когда ж на плечах твоих высохло море,  
из моря ты вышла — и в море ушла.

С тобой я проплыл, проводив до предела,  
как встарь — до угла.  
Примеривши море на длинное тело,  
из моря ты вышла — и в море ушла.

Я помню, как после купания долгого  
в опавших подушечках пальцы твои  
опять расправлялись упругими дольками,  
от солнца наполнившись и любви...

Потом облака золотели от зноя.  
И сонное солнце в Элладу ушло.  
И лебедю Леда, поправив рукою,  
сунет голову под крыло.

Тебя потеряли дозорные вышки.  
Вода погремушкой застряла в ушах.  
Ко мне обернулись зеленые вспышки —  
из моря ты вышла — и в море ушла.

## ВОДЯНЫЕ

Р. Щедрина

Мы — животные!  
Твое имя людское сотру.  
Лыжи водные  
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямил  
на лету —  
словно рвешь лошадиную силу  
на Аничковом мосту.

Одиночество! —  
вся надежда на позвоночники.  
Не сорваться бы —  
мы животные цивилизации.

Берег. Женщина-невеличка.  
Счастье — вот оно!  
И в боксерских перчатках спички.  
Мы — животные.

И змеиному телу подруги,  
приподнявшейся на руке,  
мы, наверное, кажемся плугом,  
накренившемся вдалеке.

---

Тренированные на водных,  
на земных,  
мы осваиваемся свободно  
на воздушных и на иных.

Человекообразные други  
нас облают в этой связи.  
Человекообразные духи  
нам указывают стези.

Голова на усах фекальных  
выплывает из глубины.  
Что же держит нас вертикально?  
Тяга женщины и страны.

Где каким-то чудом сохранены,  
запрокинутые назад,  
ухватясь за твои телеграммы,  
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу  
взмает вовремя —  
что ей в это мгновенье вспомнится?  
Лыжи вольные!

1981



**ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ**

**Я водные лыжи почти ненавижу,  
когда надеваю воздушные лыжи.**

**Полжизни вложил я в воздушные лыжи,  
полнеба за трос вырывая двужильно.  
Мои провозвестники кончили грыжей,  
воздушные лыжи со мною дружили.**

**Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,  
ты воздух хватаешь как водная лилия.  
На водные доски тебя не поставишь.  
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.**

**Не ешь до звезды. И питайся любовью,  
сдирая лодыжки о воздух и крыши.  
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей  
за то, что познала воздушные лыжи.**

**Пойми, что энергия — та же материя.  
Ладошка твоя щурит свет Моны Лизы.  
Но только одна не катайся. Смертельно!  
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.**

---

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.  
Прощай! Я живую тебя не увижу.  
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,  
как стрелки часов, две скрещенные лыжи.

Мое преступленье ужасно. Я спятил.  
Ты же —  
жива. Ты по небу катаешь на пятке.  
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

1981

## ТЕЛЕГРАММА

(на мотив А. Жофруа)

ТЕБЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ПОЧТА РЯЗАНИ КАЗА-  
НИ ТАНЗАНИИ И ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА-ТАКАЯ  
ТОСКА ТЧК ПРОСТРОЧЕНЫ МНОГОТОЧИЕМ СЛЕДЫ  
ТВОЕГО КАБЛУЧКА ТЧК С ТОБОЙ МЫ ЛЮБОВЬ  
КРУТАНУЛИ НА ФОНЕ ПРИБОЯ И ОГНЕННОГО  
ПЕСКА ТЧК ТЫ ВСЯ ГОЛУБАЯ СПИНА ГОЛУБАЯ  
ЕЩЕ ГОЛУБЕЕ ЩЕКА ТЧК ОТЛИЧНАЯ ТЕЛКА ЗА-  
МЕДЛЕННАЯ СЛЕГКА ТЧК ЛЕЖАТ НА ПЕСКЕ ИЛ-  
ЛЮЗИИ И СБРОШЕННЫЕ ШЕЛКА А ТАКЖЕ РОМАН  
ЮЛИАНА ИЗ ЖИЗНИ ОДЕССКОЙ ЧК Я БРЕЮСЬ  
ЖУЖЖАЩЕЮ БРИТВОЙ МЕНЯ ТЫ ЦЕЛУЕШЬ И ЛЮ-  
БИШЬ И ЛАСТИШЬСЯ БРЕЮСЬ ПОКА ТЧК ТОБОЮ  
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ ЛЕТИТ НА ЧЕТЫРЕ КУСКА  
ПРИМЕТА ОСТРА И ГОРЬКА ТЧК О БУДЬ ОСТО-  
РОЖНЕЙ ОБРЕЖЕШЬ СВОИ ГОЛУБЫЕ БОКА ТЧК  
ПРОЩАЙ ОТРАЗИВШИСЬ В ОСКОЛКАХ К ТЕБЕ НЕ  
ВЕРНУСЬ НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЛЮБЛЮ НИКОГДА  
НИКОГДА ОПЯТЬ НА ТЕБЕ СТАВЛЮ ТОЧКУ ТЧК  
ТЧК ТЧК ТЧК ПОИЩИ ДУРАЧКА ТЧК ПОЙДЕШЬ  
СПОТЫКАЯСЬ НА КАЖДОЙ СТУПЕНЬКЕ МОСТКА  
ТЧК ПОКА ТЧК МОЯ ГОЛУБАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ НА-  
ВЕРНЯКА ТЧК ПРОЩАЙ ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ В СТРОЧ-  
КАХ ТЕЛЕГРАФНОГО ЯЗЫКА И ГДЕ-ТО НА ПОЧТЕ  
НОЧЬЮ НАД СКОМКАННЫМ БЛАНКОМ СРОЧНЫМ  
ТЫ ВСКРИКНЕШЬ НЕВИДИМА И БЛИЗКА ТЧК ПОЙ-  
МЕШЬ ЛИ СКВОЗЬ ЭТИ СТРОЧКИ МОЙ ОДИНОКИЙ  
ВОПЛЬ ВОПР-



Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,  
другие пусть пасут или пасутся.  
Я лучше напишу тебе стихи.  
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси  
на сутки, но зато какие сутки!  
Все сутки ты одета лишь в стихи.  
Они спасут тебя.

Ты вся стихи — как ты ни поступи,—  
зачитанная до бесчувствия.  
Ради стихов рождаются стихи.  
Хоть мы не за «искусство для искусства»!

1980

## ГРУЗИНСКИЕ ХРАМЫ

На что похожа заточимая  
во Мцхете острая душа?  
На карандашную точилку  
для божьего карандаша.

Те наконечники-верхушки  
вздымались, головы кружа.  
И реки уносили стружки  
нездешнего карандаша.

Не тот ли карандаш всевышний  
чертой отметил дорогой  
след самолета, ветку вишни  
и рукописный городок?

Какою любящею линией  
очерчен поднебесный сад,  
где ночью распускалась лилия —  
как в стойке делала шпагат?

На радость это или гибель?  
Бог это или просто так?  
Но краска стертая и грифель  
внутри остались на стенах.

И мне от Грузии не надо  
иных наград, чем эта блажь, —  
чтоб заточала с небом рядом  
и заточила карандаш,



Когда звоню из городов далеких —  
господь меня простит, да совесть не простит,—  
я к трубке припаду — услышу хрипы в легких,  
за горло схватит стыд.

На цыпочках живешь. На цыпочках болеешь,  
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.  
И черный потолок прессует, как Малевич,  
и некому воды подать.

Токою как глухарь, по городам торгую,  
толкуют пошляки.  
Ударят по щеке — подставила другую.  
Да третьей нет щеки.

1977

## ИЗ МЕКСИКИ

Не пирамидам, не древней эротике,  
не кружевным кафедральным массивам,  
я поклонюсь на картофельной родине  
картошке — спасительнице России.

Я поклонюсь этим клубням разлапым,  
давним кострам ритуальной ботвы,  
я поклонюсь нашим всеощным бабам  
в очередях затемненной Москвы.

Эта внедрившаяся культура,  
в нас обрусев, пропитала страну.  
Как усмехнулась старуха под Тулой:  
«Картошка выиграла войну».

И не бывает яств безрассудней —  
выйдя в ночное с луной молодой,  
взять из золы раскаленные клубни  
и перекидывать на ладонь!

Не повлияли Матиссо-Гогены  
на омовение красных коней —  
может, кричат мексиканские гены  
в сыне картофельных полей?

Вот почему забайкальские скулы  
в гвадалахарской вижу толпе.  
Вот почему по-испански тоскует  
лабух малаховский на трубе,

---

Историю вспомните и, лютуя,  
по малограмотности своей,  
не проклинаяте ввозную культуру!  
Постойте в очереди за ней.

В первооснове жизни и слова  
культуры, обмениваясь, шумят.  
Вы нам — картофель, мы вам — вишневый  
непостижимый чеховский сад.

Сад этот заполонил все столицы,  
его не вырубить и не постичь.  
Зачем вы ездили за границу?  
Предков почтить.

1981



## МЕХИКО-СИТИ

Мехико — сито.  
Как будто клубники корыто  
мелкою сеткой от мух и туристов покрыто.  
В сетке москитной  
весь город от смога. Ей-богу,  
несколько стыдно  
за грязную нашу эпоху.  
Но как красивы огней алфавиты!  
Что ты просеешь,  
Мехико-сито?  
Из-под вуали спой, Карменсита:  
«Губы насытились — сердце не сыто».

Малая Нерль проступает из хмари —  
творог небесный, откинутый марлей.

Или Блаженный, снежком заносимый,  
виснет авоською с апельсинами?

Что меня носит по свету транзитом?  
Тело намаялось, сердце не сыто.  
Бегство от быта — смешная защита,  
все ненасытней растут аппетиты.  
Любим сквозь сито, поем через сито.

---

Сыты по горло — сердце не сыто.  
Небо не сыто. Окошки открою —  
ты прилетаешь по воздуху кролем.

Как ты нашла меня здесь, полуночница?  
Как ты волнуешься, часто дыша,  
розовой молнией позвоночника  
туго затянутая душа!

1981



Проходишь ты без попутчика,  
подняв воротник двубортный,  
как клочок неба в тучах  
обиженно-голубого.

Ты не попала в раму.  
Только вздохнешь глубоко.  
Скроется за углами  
обиженное голубое.

Сдуло тебя ветрами.  
Осталась кому угодно  
невзятая телеграмма  
поспешного голубого.

Обманутая погода!  
Плацкарта до Бологого.  
Не пойманное позолотой  
свободное голубое.

1980



Ах, переход в полосках белых  
асфальта между двух канав!..  
Лежала улица и пела,  
кусок тельняшки показав.

1983

ВИЙОН

Я желаю, чтоб жили вешне!  
Чтоб на виселице в городке  
амнистированный повешенный  
крутил «солнце» на турнике.

1983

## ОКНО

Припади к стеклу — что я делаю? —  
совпадение запотелое.

Золотая до обалдения,  
запотевшее совпадение.

Совпадение наших судеб,  
наших шуток, лесных как Шуберт.

Нос приплюсни в окно потёшное,  
совпадение запотевшее.

Торопись, моя современница,  
горы сдвинутся, царства сменятся,

только это и неподдельное —  
запотевшее совпадение.

1980



Под утро ты придешь назад  
в обиженные стеллажи.  
Зачем ты, человек, скажи?  
Скажи, что нечего сказать!

Попавший человек в грозу  
и жизни божью благодать,  
что в оправданье я скажу?  
Скажу, что нечего сказать.

Как объяснюсь в ответ стрижу,  
горе, кормящей двух козлят?  
На языке каком скажу?  
Скажу, что нечего сказать.

Как предавался мятежу,  
что обречен на неуспех?  
Как предавался монтажу  
слов, что и молвить не успел?

Вот поброжу по бережку  
и стану ветерком опять.  
Что человеку я скажу?  
Скажу, что нечего сказать.

Вот только взглядом провожу  
твою безоблачную прядь.  
Что на прощание скажу?  
Скажу, что нечего сказать.



Мы все забудем, все с тобой забудем,  
когда с аэродрома улетим  
из города, где ресторан «Распутин»,  
в край, где живет Распутин Валентин.  
В углу один, покинутый оравой,  
людское одиночество корит:  
Завидую тебе, орел двуглавый,  
ты можешь сам с собой поговорить.

1977



Я шел асфальтом. Серый день.  
Сегодня не было теней.  
Но предо мной ложилась тень,  
от жизни брошена моей.

Я оглянулся. Никого.  
Но тень была. Верней всего,  
твой отсвет, в памяти живой,  
шел, как с фонариком, за мной.

1979



# Вечное мясо

---

Поэма

В Якутии было найдено мясо мамонта, пролежавшее в вечной мерзлоте 13 тысяч лет и сохранившее дыхание жизни.

Мясо дали попробовать собакам. Те ели с удовольствием. С подаренной мне шерстью этого мамонта я вернулся в Москву, где в июле проходила встреча с зарубежными писателями.

Я пытался соединить в поэме мелоднику якутского и русского эпоса. Духи Олох — жизнь по-якутски, и «Олуу» — смерть — были крестными поэмы. Они трубили свое «олохолуу» — над ее рифмами.

ПРОЛОГ

1

**Псы XX века рвут мамонтово мясо.  
Его извлекли из мрака нефтяники, роя трассу.  
Свидетельствуют собаки, что мясо живое. Ясно?**

**В том мясе, розовато-матовом, таилась некая  
едва его нож отхватывал, оно на глазах  
Чем больше рвали от мамонта — тем больше его**  
**странность,  
срасталось.  
оставалось.**



---

Чем больше от сердца отрываешь,  
тем больше на сердце остается.

1. ПРОХОРОВ

Завбазой Дмитрий Прохоров  
тоже мяса попробовал.  
«Я мамонт,— вопит,— я мамонт!»  
Жена его не понимает:  
«Мундук ты, муж, а не мамонт,  
все не просыхаешь, Прохоров.  
Принес бы вечного мяса,  
мы стали б ударной базой,  
родне бы послали окорок,  
на рынок возили б — плохо ли?  
Где порох мужской твой, Прохоров?  
Месяц меня не касается».  
Но Прохоров не внимает.  
Из хобота в душевой обливается.

«Я мамонт,— вопит,— товарищи,  
в семье и на производстве.  
Чем больше от себя отрываешь,  
тем больше на сердце остается».  
И в глазах у него истома.  
Так Прохоров ушел из дома.

2.

Мамонт пролетел над Воронежем,  
как будто память злосчастная,  
чем ее больше гонишь,  
тем больше она возвращается.

Мамонт пролетел над Аризоной,  
трубя по усопшим предкам —  
его принимали резонно  
за неопознанные объекты.

---

### 3. НА БАЗАРЕ

Трубач Арлекин Тарелкин,  
аллергик,  
труба мирового класса,  
не взял на базаре мяса.  
(7 р. показалось ему странным.)  
Оскорбился трубач ресторанный,  
покрутил ключом от «мерседеса»,  
и задумал трубач паскуду:  
«Мои легкие — безразмерны.  
Я вдую в себя атмосферу,  
а выдувать не буду».

После первой затяжки  
он ростом стал со слоненка,  
после второй затяжки  
глаза вылетели, как шампанское,  
после третьей затяжки  
на рынке дефицит кислорода.  
А трубач взлетал над народом,  
раздувался все больше, больше,  
подымался все выше, выше,  
и все меньше в глазах становился.

Ключик с небес свалился.

4.

Или это лже-Дима?

5.

Мамонт пролетел над Россией,  
не слоник из мармелада —  
помните, беда разразилась,  
когда вскрыли гроб Тамерлана?  
Не трогайте мир мемориальный.

---

## 6. КАССИРША

Кассирша авиакассы  
тоже вкусила мяса.  
Кавалеров не забывает,  
а любовь в ней все прибывает.  
Какая она красивая!  
Пышнее киноактрисы.  
Ей тесно в тужурке синей,  
с косой золотой австрийской!  
Диспетчерша острит, точит лясы:  
«Проверяйтесь, не отходя от кассы».  
Но на сердце у девушки — проголодь...  
Не вычерпать ее чашкой чайною,  
не вычерпать ложкой столовою,  
автопомпой не откачаете...

Пролетал ее шурин, Прохоров,  
пролетал Тарелкин, мужчина,  
Омский хор пролетал на Вену.  
Сына ей надо, сына...

Мамонт мой, маленький комарик,  
царевич — неубиенный!

## 7.

Мамонт пролетел над Коломенским,  
загнувши салазки бивней —  
чем больше друзей хоронишь,  
тем память их неизбывней.

## 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прямо с аэродрома,  
шерстью мамонтовой бахвалясь,  
накрутив, как кольцо, на палец,  
я явился в Дом литераторов.

---

Там в сиянии вентиляторов  
заседало большое Лобби:  
Там были — Прохоров, Олби,  
Макгибин с мелкокалиберкой  
и отсутствующий Лоуэлл,  
бостонец высоколобый,  
что некогда был Калигулой.

Я им закричал: «Коллеги!  
Охотники и художники!  
Отныне мы все задолжники  
бессмертно вечного мяса.  
Мы живы и не во мраке,  
пока нас грызут собаки!»

Лоуэлл не засмеялся.

Лишь колечко растер перстами,  
будто пробовал лист лавровый...

Ты умрешь через месяц, Лоуэлл,  
возвращаясь в такси оплошном  
от семьи своей временной — к прошлой,  
из одной эпохи в другую!  
Закрутились нули таксиста  
где-то в области метафизики,  
мимо Рима, Москвы, Мемфиса,  
мамонт белый и мамонт сизый,  
пронеслась — и на том спасибо —  
жизнь, золотая тайна,  
милостыня мирозданья.

9.

Мамонт пролетел над Волгоградом,  
мамонт пролетел над Ворошиловградом,  
мамонт пролетел над Царьградом,  
мамонт пролетел над становьем Кы,  
с хвостиком, как запятая Истории,  
за которым последует столько.

---

**За 13 тыщ лет до Маркса,  
за 11 до христианства  
и в печенку вечного мяса  
вгрызаясь, висли собаки.  
Мамонты разлетались, однако.**

#### 10. ВЕРНИСАЖ

**На выставку художника Прохорова  
народ валит, как на похороны.  
«Не давите!» — кричат помятые,  
оператор кричит: «Снимаю!»,  
кто умен, кричит: «Непонятно!»,  
а дурак кричит: «Понимаю!»**

**Были: коллекционер Гостаки,  
Арлекин Тарелкин с супругой,  
блондиночкой упругой,  
композитор Башляк с собакой, —  
толкались, как на вокзале.**

**Прохоров пришел в противогазе.  
«Протестует, — восхищаются зрители, —  
против духоты в вырезвители».**

**Вы помните живопись Прохорова?  
Главное в ней — биокраски.  
Они расползаются, как рана,  
потом на глазах срастаются.  
Наивный шпиг композитора  
аж впился в центр композиции.**

**Прохоров простил болонку:  
«Я мыслю тысячелеткой.  
Мне плевать на понимание потомков,  
я хочу понимания предков,  
чтоб меня постиг, понимающ,  
дарующий смысл воспроизводства:**

---

чем больше от себя отнимаешь,  
тем более остается».

Тут случилось невероятное.  
Гостаки роздал свою коллекцию,  
Тарелкин супругу дал товарищу,  
Башляк свою мелодию  
подарил Бенджамину Бриттену.  
Но странно — чем больше освобождались,  
богатства их разрастались:  
коллекция прибывала,  
супруга на глазах размножалась,  
мелодии шли навалом.  
Но тут труба заиграла.

Заиграла, горя от сполохов,  
золотая труба Тарелкина.  
Взяв «Охотничье allegro»,  
«Нет! — сказал ревнивый Тарелкин.—  
Я тебя вызываю, Прохоров!  
Мы таим в своем сердце Время,  
как в сокровищнице Ширази.  
Мы — сужающиеся вселенные,  
у тебя ж она — расширяется.  
Ты уводишь общество к пропасти,  
ты нас всех растворишь друг в друге.  
Я тебя вызываю, Прохоров,  
за поруганную супругу!»

Начал дуть трубадур трактирный,  
начал нагнетать атмосферу,  
посрывало со стен картины,  
унесло их в иные сферы.

«Подражатель Тулуз-Лотрекки,  
отучу тебя от автографов».



---

«Да!» — сказал ревнивый Тарелкин.  
«Нет», — лениво ответил Прохоров  
и ударил Тарелкина по уху.

Бой Охотника и Художника,  
перед бабой и небесами!  
Визг собак, ножей и подножек.  
У обоих разряд по самбе.

Чем окончится поединок?

Но этаж обвалился с грохотом,  
и с небес какой-то скотина  
проорал:  
«Побратим мой Прохоров,  
я — Дима!»

Больше не видели побратимов.

#### 11. ГОЛОС

Раздайте себе немедля,  
даруя или простивши,  
единственный рубль имея,  
отдайте другому тыщу!

Вовеки не загнивает  
вода в дающих колодцах.  
Чем больше от сердца отрывасшь,  
тем больше в нем остается.

Так мать — хоть своих орава; —  
чужое берет сиротство,  
чем больше от сердца отрывасшь,  
тем больше в нем остается.

---

Люблю перестук товарный  
российского разновертья —  
сколько от себя оторвали,  
сколько еще остается!

Какое самозабвенье  
в воздухе над покосами,  
как будто сердцебиение,  
особенно — над погостами.

Под крышей, как над стремниной,  
живешь ты бедней стрижики,  
но сердце твое стремительное  
других утешает в жизни...

Пекущийся о народе,  
раздай бриллиант редчайший,  
и станешь моложе вроде,  
и сразу вдруг полегчает.

Бессмертие, милый Фауст,  
простое до идиотства, —  
чем больше от сердца отрываешь,  
тем больше жить остаешься.

Раб РОСТА или Есенин  
не стали самоубийцами,  
их щедрость — как воскресение,  
звонит над себялюбивцами.

Нищему нет пожаращ.  
Беда и победа — сестры.  
Чем больше от сердца отрываешь,  
тем больше ему достается.

---

ЭПИЛОГ

**Почему онемела комиссия,  
вскрыв мамонтово захоронение?  
Там в мерзлоте коричневой  
севернее Тюмени  
спят Прохоров и Тарелкин,  
друг друга обняв, как грелки.  
Мамонты-бедолаги,  
веры последней дети...**

**Попробуйте их, собаки  
новых тысячелетий.**

1977

# Чувствую—стало быть, существую

---

## ПОСВЯЩЕНИЕ

В мою Белую книгу внесены вымирающие  
породы,  
безрассудства черты,  
что уходят навек, но сначала на годы,  
что таить, это — Ты.

Как Тебя сохранить от моей же надруги?  
Ты не белка, не стриж —  
но сливаются с ночью Твои загорелые шея  
и руки,  
когда Ты в безрукавке своей белой стоишь.

Не стреляйте взмахнувшую Белую книгу!  
Мои темные книги сама Ты сожжешь.  
Безрассудку мою, безголовую белую Нику  
не давайте под нож!

1979

## ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда.  
Голый, созданный в холоде леса,  
поправляя Создателя дерзко,  
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,  
когда жердеобразный чудак  
каждодневно  
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?  
В вечном споре низов и верхов —  
тела нижняя половина  
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,  
чтобы легче дышать или плакать,—  
декольте на груди вырезает,  
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело,  
очертаньями хороша,  
содержанье одежды — тело,  
содержание тела — душа,

## ДЕЖУРНАЯ АПТЕКАРША

- Аптекарша, дай мне забвение!  
Желательно внутривенное.
- Аптекарша, мы из села Вязники.  
Мы язвенники.
- Аптекарша, дай кислорода!  
Перекрыли царя природы.
- Без очереди, криворотый!
- А ночью рецепт откеда же?
- Со всего света мы тут, аптекарша,  
истомились за столетье истекшее...
- Не сосед, а горе-злосчастье —  
аптекарша, дай противозачаточное...

Я тебя в дежурство развлекаю.  
Ты все время возвращаешься к клиентам.  
Хохлятся латинские лекарства  
на крутящихся темных этажерках,  
словно рижские голубятни  
или кафедры римских соборов.  
Аптекарша, бессонный мой совенок!  
Дверь дубовая — на засовах,  
в ней квадратное окошко за решеткой,  
и сквозь это окошко милосердное  
умоляют глаза и носоглотки,  
рецепты, фуражки милицейские,  
кашли, башли, печали, челюсти.  
Излечимо ли человечество?

- 
- Аптекарша, дайте мне яду!
  - Принимайте, по возможности, Моцарта.
  - Аптекарша, свинцовых примочек,  
а шоферу чего-нибудь мятного!
  - Я с поста. Отвори, аптекарша,  
изложу дежурство протекшее.

Я кручу лекарственные столики.  
 Меня их кружение забавляет.  
 Скажем, вызову: «Н. Н. Кроликов!»  
 И Кроликов появляется.  
 — Аптекарша, блок кодеина.  
 — Обтерпишься! (Местный Катилина.)

Я взрываюсь: «Алкаши! Пустобратья!  
 Упыри! Марафетчики патлаты!»  
 Говоришь ты: «Выключи радио...» —  
 и мне рот затыкаешь халатом.  
 — Аптекарша, смерть артерию!  
 — Отужинаем, аптекарша!  
 — Дочка сейчас отелится,  
 облажались мы с тобой, аптекарша.  
 — Аптекарша, аптекарша, аптекарша....  
 — Аптекарша, дай мне забвение.  
 Возможно. Но тем не менее...

Излечимо ли человечество?  
 Смерть — причина или личина  
 неземной какой-то заразы?  
 Стойки лекарственных заказов  
 кружатся в наивном спиритизме.  
 И дрожат, недоступные для глаза,  
 паутинки радужные жизни,  
 от тебя протянуты в квартиры,  
 к обитателям краткого крова,  
 к постовому, к тому же Кроликову,  
 как бессонные лески рыболова.  
 Ослабела вдруг паутинка —  
 значит, в ком-то жизнь поутихла.

---

Ты встаешь, чью-то жизнь поправишь,  
аптекарьша, случайный мой товарищ...  
Пахнет сеном, сушеной астрой,  
буквы вышиты на халатике.  
Ты к нам перевелась из-за астмы  
из какой-то другой галактики.  
И когда посетители последние  
откачнутся, оставив кассу,  
припадаешь к окошку милосердному,  
видишь город и утро серое,  
и сквозь тучи, почти весенние,  
откроется квадратик небосвода...

«Дайте аптекарше кислорода!»

1979



## КОШКА

У женщины кошка пропала,  
как если пропало дитя.  
С работы она приходя,  
все смотрит налево, направо.

Подумаешь, кошка, делов-то!  
В доме нелюдимая мгла.  
Ждала, за подругу была.  
Кому-нибудь скажешь — неловко.

Бывало, хозяйка болеет,  
а кошка — у ней на груди.  
Из лап кренделек впереди.  
В ночи ее грудка белеет.

Хорошим была домочадцем.  
И надо привыкнуть и жить.  
Попробовать свет не тушить,  
чтоб в темень не возвращаться.

Сейчас она двери запрет,  
поставит у двери кошелку.  
И не раздеваясь, ревет —  
как будто рыдает о кошке.

1978



Любовь и горе — вне советов.  
Наглеющая верхоглядь,  
великих женщин и поэтов  
не вам учить или понять!

Когда поэта в гробе мчали,  
осталась дома Натали.  
Горизонтальная Наталья  
летела с ним за край земли.

1980

---

ДУМАЙТЕ ПОСТУПКАМИ

Не хватает жизни,  
чтобы жизнь обдумать.  
Вывод афоризма —  
головой об тумбу?  
Думайте поступками,  
думайте разлуками,  
дудками пастушьими,  
встречами разутыми,  
в поезде камышинском  
думайте платформами,  
станьте злоумышленниками  
чудотворными!  
Гениальней саженец,  
чем идея саженца.  
На случайной станции,  
побледнев, высаживайтесь.  
Помните, события —  
это мысли жизни.  
Мысль моя забытая,  
ты вбежала сызнова.

1978

## ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

(на мотив В. Смита)

Ты все причесываешься в ванной,  
все причесываешься.  
Все пирамиды, сфинксы все изваяны,  
ты все причесываешься,  
гусиные вернулись караваны,  
Шехерезады выдохлись и Чосеры,  
ты все причесываешься.  
Ты чешешь свои длинные, медвяные,  
окутываешь в золото плечо свое,  
с пушком туманным тело абрикосовое,  
ты все причесываешься.

Свежайшие батоны стали черствыми,  
все розы распустившиеся свянули,  
устали толкователи Евангеля,  
насытились все властью облеченные,  
отмучились на муки обреченные,  
повысохли в морях русалки вяленые,  
все тайны мироздания — при чем они?  
Ты с Вечностью ведешь соревнование.  
Ты все причесываешься.  
Четвертый час заждался на диване я,  
осточертела поза мне печоринская,  
паркет истлел от пепла папиросного,  
я ногу отлежал, да и все прочее,  
как говорится, положенье «сосовое», —  
ты все причесываешься.

---

Все в ресторанах съедены анчоусы,  
спиричуэлсы спеты пугачевские,  
накрылось электричек расписание,  
чесать пора отсюда, я подчеркиваю,  
но ты, как говорится,  
не почесываешься,  
ты драишь косы щеткою по-черному.  
«Под ноль» тебя обрею!  
Ноль внимания.  
Ты все причесываешься.

Люблю я эту дачу деревянную,  
жить бы да жить  
и чувствовать отчетливо,  
что рядом ты, душа обетованная,  
что все причесываешься!..

Под дверью свет твой  
прочертился щелкою,  
в гребенке электричество пощелкивает.  
Эй, берегись! Устроишь замыкание!  
Ночной смолою пахнет сруб отесанный.  
Я слышу — учащается дыхание.  
Чу! Кончила? Шуршит простынка банная.  
Нет, все причесываешься.

1978

КЛАССИЦИСТУ

Всегда с лицом пирамидона  
глядите тухло-глубоко.  
У Рафаэлевой Мадонны  
от вас свернется молоко.

1983

ТОСКА

Который день на койке латаной,  
отвратный самому себе,  
лежу ничком, как перекладина  
к моей оконченной судьбе.

1979

## ЛЫЖНИК

Один на один со Вселенной,  
один против ветра и льдин,  
конечно, ты вместе со всеми,  
и все же — один на один.

Один на один со стихией,  
и этим непобедим,  
частица людей и России,  
и все же — один на один.

Металлом обитые лыжи  
оставят пустые лыжни,  
как шашкой во имя жизни  
оставленные ножны.

Откажут и лыжи и тело,  
идешь на желанье одном.  
Стоять на своем — это смело,  
смелее — идти на своем.

За это в арктической точке  
на двадцать четвертой «СП»  
подснежник морозоустойчивый  
подарит полярник тебе.

И с этим народом отборным  
поймешь настоящий успех,  
полученный в единоборстве,  
и все же — со всеми, за всех.

1979

## МОРОЗ

От мороза лопнут трубы —  
ничего!  
Мы пока еще не трупы,  
нам с тобою горячо.

Москва вроде Минусинска:  
минус 45.  
Значит, предстоит разминка,  
чтобы кровь полировать.

Я люблю не оттого ли  
наш крещенский холодок —  
полирует кровь и волю,  
как для зайца нужен волк.

Помнишь время молодое?  
Мы врывались на пари,  
оставляя пол-ладони,  
примороженной к двери.

У мороза звон мажорный.  
Принимайте душ моржовый!  
Кому холод — лютый,  
а кому — валютный.

Не случайно мисс Онассис,  
бросив климат ананаса,  
ценит наши холода,  
молодея навсегда...



---

Белки, царственно шуруя  
по волшебному стволу,  
траекторией шурупа  
завинтились в синеву!

Помнишь, как они гонялись  
в нашу летнюю судьбу,  
завивая гениально  
цепь златую на дубу?

Хороши круговороты!  
Снегом душу ототрем.  
Все условия для полета:  
минус 40 за бортом.

1979



Крокодилы окотились!  
Возле сонных крокодилиц  
присосавшиеся спят  
пятьдесят крокодилят.  
Тех, кому не хватит мест,  
мама съест.

Крокодильчики из кожи  
так на туфельки похожи.  
Привозите-ка невест!  
Кому в пору — мама съест.

Самый юный крокодил  
себе зубик обломил.  
Думал — это мама, но  
оказалось, что бревно.  
У соседа тоже драма:  
грыз бревно, а это — мама.

1979

## КВАРТИРА

Кто в квартиру сгоряча  
сунул ключ от «Москвича»?  
Вся квартира затряслась  
и, чихая, завелась.  
Газ!

Полетела с завываньем!  
Как прицеп — санузел с ванной,  
в ванной нежится соседка,  
фен засунула в розетку.  
Пролетая над народом,  
не спускайте в ванной воду!

Увели тебя красиво.  
Толпы взрослых и детсад —  
все гонялись за квартирой,  
но квартиру не достать.

Где летаешь ты, квартира?  
В чудесах большого мира,  
где порхает меж ветвей  
благозвучный Коровей.

Он народы обзирает,  
он романсы распевает,  
оттого и нелегко  
достать птичье молоко.

---

Что видала ты, квартира?  
В облаках летает с лирой  
неоклассик, как Пьерро,  
в спину всунувши перо.  
Перо всунул — полетал,  
перо вынул — написал...

Хорошо летать без трассы,  
оглашая небо Штраусом,  
для квартиры у властей  
нет предела скоростей...

А внизу, разинув рот,  
дом покинутый орет,  
как без ящика комод:

«Кто ж в квартиру сгоряча  
ключ сует от «Москвича»?  
Надо бы от самосвала,  
чтоб все зданье полетало».

1979

ВЫПИСКА ИЗ КНИГИ «ЧАРОДЕЙСТВО, ВОЛШЕБСТВО  
И ВСЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАГОВОРЫ»

«Чтоб женщине стать умной, надо печень  
съесть соловья, в Купалу заколов...»  
Вот почему так много умных женщин.  
Вот почему так мало соловьев.

1983

ДРУЗЬЯМ-ЮБИЛЯРАМ

Полтинники шестидесятников!  
Записывайтесь на багет.  
Не стань банкетною гусятиной,  
Синяя птица наших лет!

1983

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Апокалипсис  
в 24 часа.  
А пока — липси  
и ча-ча-ча».

1983



Единственная Россия,  
единственная моя,  
единственное спасибо,  
что ты избрала меня  
«Реквием в двух шагах  
с эпитафией»

Пасечник нашего лета  
вынет из шумного улья  
соты, как будто кассеты  
с музыкою июля.

Смилуйся, государыня скрипка,  
и не казни красотой  
мяты и царского скипетра  
перед разлукой такою!

Смилуйся, государыня родина,  
выполни самую малость,  
пусть под жилыми коробками —  
но чтобы людям осталась!

Смилуйся, государыня совесть,  
спрячься на грудь мне как страус.  
Пой сколько хочешь про Сольвейг,  
но чтобы после осталась.

## ХОЗЯИН ОТЕЛЯ

За него соратницы  
рожу оцарапают.  
До администратора  
был в «Локомотиве».  
Дайте развернуться  
новому характеру!  
Инициативы!

Он придумал тройки,  
чтоб валюта капала —  
полыхайте, гривы!  
Дайте развернуться  
мужику с характером!  
Инициативы!

Дайте развернуться  
новому солисту,  
чтобы на эстраде  
на верхах залился!  
Мысль официанток  
ассоциативна:  
«Главное в мужчине —  
инициатива».

Не пугаясь риска,  
ты пустырь отторгнул  
под парник опрятный —  
чтобы брать редиску  
не в Ювелирторге  
по цене брильянтов.

---

Нету с неба манны.  
Высшая гуманность —  
накормить прибывших.  
Инициативы!  
С лучшими умами  
думаешь о ближних.

Не попасть в Плехановский.  
Мучатся идеей  
молодые гномики  
экономики.  
Зажигают свечи  
перед индейкой  
метрдетели, черные  
как каноники.

Кто ты?  
    Демон в стеклышках?  
Общих благ гарантия?  
Жлоб ли с новым опытом?  
Что-то распахнется  
новое в характере?  
Характеру хлопотно.

Молодой хозяин  
огромного дома,  
пробежим по гоголевскому снежку.  
Ты — пока что рукопись  
для 2-го тома.  
Если не получишься,  
я тебя сожгу.

1980



## АРХИТЕКТОР ПАВЛОВ

На Вас альпийские волосы —  
как преображенный парик,  
за которым угадываются  
камзол и коса,  
девичьим румянцем лицо горит,  
а глаза —

они венецианские, я бы сказал,  
Вам предшествует приход синевы.  
Сначала синий заполняет зал,  
А спустя минуту  
являетесь  
Вы.

Однажды Вы спроектировали  
бабочку-стадион,  
который летал на игры  
на конструктивной раме.  
Игроки и зрители размещались в нем.  
Вам сказали:  
«Рано!»

Но никогда не рано прийти впереди себя  
и в душах неподготовленных  
смущение учинить.  
Спокойно уйдет по воздуху  
поторопившаяся стопа.  
Я — Ваш, Леонид Николаевич,  
незадачливый ученик.



Глядите в лапу клиенту нищему,  
взимая плату,—  
глядите лучше пианисту  
в пустую лапу!

Не стоят мебельные составы  
и все квартиры  
просторной небыли, что та пустая  
рука схватила.

Из рукава он раскинет клавиши,  
как из карт колоды,  
и вам, рабам «Жигулей» и кладбищ,  
дает свободу.

Тебе не видно, наивный взяточник,  
как этот лабух  
сжимает музыку — булыжник завтрашний,—  
пригнувшись, в лапах.

Дайте без очереди ему квартиру!  
Пустые звуки.  
Паля на ощупь, владеют миром  
пустые руки.

1980



От Ховрина и до Мехико  
под парусом новых халуп  
мы верим сегодня в Сантехнику,  
как в «Санта-Марию» — Колумб.

— За что тебя, Авель? — За кафель! —  
Но все это пошлость и чушь,  
когда, словно музыка с клавиш,  
пошел очищающий душ!

Всплывут над водою зеленой  
ног крохотные персты —  
как крылышки утомленные  
появятся у воды.

Волшебные их отраженья  
беспечно напоминали  
то в виде пичуги печенье,  
то маленькие цимбалы.

Торчат золотей Тициана  
два краешка жизни твоей —  
по пальцы обрезанных ванной,  
натертых на танцах ступней...

Душ брошен и корчится шлангом.  
Прошла уже тысяча лет.  
А он все зовет ее «ангел»,  
Другого названья нет,

1930

## ДЫБА-ВОЕВОДА

(на мотив Т. Аргези)

Слава, слава Владу-воеводе,  
в мире утвердившему покой и лад!  
Слышен лист дрожащий в чистом небосводе.  
На земле бояре как лист дрожат.

Он большой мыслитель, Влад непобедимый,  
гуманист деяньями и душой,  
он сажает на кол бояр любимых,  
зад соединяя с головой.

Дорогим боярам приготовив свечку,  
он от христианства не отошел —  
ставит в церкви свечи в честь жизни вечной,  
каждому по чину выбирая кол.

Кол из кипариса подобает визирю,  
кол из лучшей липы пойдет послу.  
Благостный епископ над страной возвысился  
на ароматизированном колу!

Чтоб восславить Влада, съезжались гости —  
во дворец съезжался совет страны.  
Закипали кубки, взвивались тосты:  
как все любят Влада и как верны!

И пока оратор говорит: «Спасибо!» —  
Влад соображает, припав на стол:  
«Какую б тебе, милый, придумать дыбу,  
какой бы получше приготовить кол?»

1980

## ПОЛЮС

Над мировым кружением отчаянным  
стою и думу думаю свою.

Мне полюс говорит:

«Пусть все вращаются.

Я постою».

1979

## БЕРЕГ

Здесь отпечатки пальцев птичьи  
на утренних песках лежат —  
как треугольнички девичьи  
от испарившихся наяд.

1977

## ИЗ ЯКУТСКОГО ДНЕВНИКА

«Что он Гекубе?  
Что ему Гекуба?»  
Что я якутам?  
Что мне якуты?

Но я тоскую по Якутии  
с такую краткою травю!  
Ее природа внешне скудная,  
зато душой не оторвешься.

Как бережно дома якутские  
над мерзлотою парят на сваях!  
Они прохладой землю кутают,  
чтоб, как Снегурка, не оттаяла.

С какой надеждою скворешни  
стоят на кладбищах дощато,  
чтоб души временно умерших,  
настранствовавшись, возвращались.

Здесь время свежее, как из лёдника,  
И в логове оленевода  
Данилов мне читает Хлебникова,  
понятного без перевода.

1979

## ТЮЛЬПАНЫ НА ПОЛЮСЕ

Сюда земной не залетает звук.  
Налево — юг, направо — юг,  
юг — спереди, и сзади — юг,  
и снизу юг глядит, как черный люк.  
И, словно воплощенье телепатии,  
живые подмосковные тюльпаны  
стоят и озираются вокруг.

Есть города — но это все южнее,  
есть путь сюда — но это все южнее,  
чужие, да и ваши, пораженья,  
южнее — жизнь, которая сбылась,  
тюльпанным капюшоном голубея.  
Наверно, есть красивей и нужнее,  
но нет на свете севернее вас.

И нет тебя нежней, московский парень,  
который месяц не снимавший лыж,  
когда ты эти ломкие тюльпаны  
от холода собою заслонишь.

Ты перенес ледовую жестокость,  
радирировал со льдины при свече.  
Наверно, полюс собирает в фокус  
все абсолютное в тебе.

Призеры и фанаты горизонта,  
в тюльпанных куртках шедшие сюда,  
к торосам, озаренно-бирюзовым,  
лечите душу синим светом льда!

## У КОСТРА

«Будь проклята, вечная мерзлота!»  
Кумысный спирт развязал уста.  
«Давайте растопимте этот лед.  
У вас есть ГРЭС в мильон киловатт.  
Природа избавится от мерзлот,  
кругом зацветет невозможный сад!»  
«Спасибо, гость, за красивый тост,  
Но, если растопится вечный лед,  
вода в глубины из почв уйдет —  
будет пустыня на тыщи верст».  
Я выпил тост, я усвоил суть.  
Но губы неслушающегося рта  
спьяну никак не произнесут:  
«Да здравствует вечная мерзлота!»

1978





Соскучился. Как я соскучился  
по сбивчивым твоим рассказам.  
Какая наша жизнь лоскутная!  
Сбежимся — разбежаться сразу.

В дни, когда мы с тобой разверстаны,  
как крестик ставит заключенный,  
я над стихами ставлю звездочки —  
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...  
Они же — попаданий скученность  
по нам палящих автоматчиков.  
Шмаляют так — что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился  
по краю глаза, где смешливо  
твой свет проглядывает лучиком  
в незагоревшую морщинку.

1979



Оправдываться — не обязательно.  
Не дуйся, мы не пара обезьян.  
Твой разум не поймет — что объяснять ему?  
Душа ж все знает — что ей объяснять?

1980



Я помню птиц неутолимой Вечности.  
Я помню хруст их клювов и зрачков.  
И отлетали ножки от кузнечиков,  
как дужки отломившихся очков.

1981

## БАЛЛАДА СПАСЕНИЯ

(на мотив Ш. Нишнианидзе)

Во время авиакатастрофы над океаном тбилисский профессор Жордания отдал свой спасательный жилет чужеземной девочке, которой жилета не досталось. Жордания погиб.

I

«Боинг» среди океана тонет,  
как мертвый кит.  
Народ в пылающем «Боинге»  
давится и вопит.  
Натягивают пассажиры  
спасательные жилеты,  
и только жилета нету  
для девочки безбилетной.  
Звереют у люка люди.  
Ни в ком состраданья нет.  
Но кто-то с себя снимает  
и ей отдает жилет.  
Девочка! кругом звери!  
Но он из других натур —  
вдохнул на прощанье поглубже  
и сам ей жилет надул.  
Потом подмигнул стюардессе:  
«Не надо меня жалеть.  
У каждого свои вкусы.  
Я не ношу жилет»,

---

«Держись!» — приказал он девочке.  
И вытолкнул ее в люк.  
И кинул ей вслед последний,  
как нимб, спасательный круг...

## II

Мингрельская колыбельная и сказка  
его взрастила.  
Его воспитали заветы  
Цотне и Автандила.  
Его воспитали песни,  
где слезы быка мы встретим,  
участье к любой пичуге,  
но главное — нежность к детям.  
Под дудочку без оглядки  
танцуют в полях несжатых  
грузинские ангелята —  
грузинские медвежата.

## III

Вы — дочь народа великого. Что с вами  
сегодня стало?  
Может, вы, утомившись,  
склонились на руль «мустанга»?  
Вы — дочь народа великого.  
Но знаете ль, грустнолицая,  
что есть крохотная Колхида —  
обитель великих рыцарей?  
Вы выросли, стали матерью,  
вас манит жизнь впереди,  
спасенная воздухом,  
выдохнутым  
из грузинской груди.  
Паря на бесшумных шинах,  
вы счастливы, очень счастливы,  
но спасшего вас мужчину  
вы вспоминаете часто ли?  
Он каждую ночь вам снится.  
Он вас беспокоит, ибо



●  
Соловьиная перспектива!  
Словно точку поняв свою,  
люди, фары, заборы, ивы  
устремляются к соловью.

Я живу в Твоей перспективе,  
с Твоим именем на губе.  
Все, что в жизни происходило  
перекрещивается в Тебе.

Но как тянет все примитивней  
расширяющийся закон,  
где обратная перспектива  
новгородских вольных икон...

## ЯБЛОНЬКА

Тебя стерегут, как яблоню  
в период плодоналива.  
Старый бердан поддавливает.  
Это подло, наивно!

И непонятно разве  
подход стерегущим ружьям,  
что яблони сами лазают  
через забор к ворующим?

1979

В ПОЛЯХ БЕЗОГЛЯДНЫХ

В полях безоглядных — подобье улыбки.  
Забывтый на грядке  
наперсток клубники,

Куда-то ушли и воткнули лопату.  
Над нею струится нога, что копала,  
и тело, что стало теперь, вероятно,  
дрожаньем улыбки в полях  
безоглядных.

1979



## АФИНОГЕНОВСКИЕ КЛЕНЫ

Вымахали офигенные  
клёны афиногеновские!  
Карей американкой  
в Россию завезены.  
Лист припадет кофейный,  
словно щека мгновенная,—  
будто магнитом тянет  
Америка  
из-под земли.

Клёны — они как люди  
с мыслящею генетикой.  
Сгорела американка  
в каюте после войны.  
Клёны афиногеновские —  
потомственная интеллигенция,  
поскольку интеллигенцией  
усыновлены.

Они шелестят по-нашему  
обрусевшими кронами.  
Они обрамляют пашню,  
бетонку и штабеля.  
Крашенная церковь  
времен Иоанна Грозного  
поет на ветке,  
красивая,  
размером со снегиря.

---

Если выходят нервы  
из-под повиновения  
или строкой повеяло —  
подыми  
воротник,  
выйди от поворота  
в клены афиногеновские,  
и под уклон дорога  
выведет на родник.

Мой кабинет кленовый,  
тайна афиногеновская,  
где откровенны  
поле,  
небо —  
и что еще?  
Христосуются,  
позавтракав,  
сварщики автогенные,  
лист им благоговейно  
спланирует на плечо.

В западном полушарии  
роща растет, наверное.  
Кронищи родословные  
тягою изошли.  
Листья к земле припадают,  
словно щека мгновенная —  
будто их к детям тянет  
Россия  
из-под земли.

идиллия

Кровь моя пела, в истории странствуя, —  
полудуховная, полукрестьянская.

Я ли повинен за жизнь неизбежную —  
полуполынную, полунебесную?

Вдруг разблокированной генетикой  
что-то проснется некабинетное —

под кнутовищем в полях полотняных  
вой крепостного инопланетянина!

1979



Снимите личины, статисты речистые —  
пречистого знамени слуги нечистые!  
Во имя чего заклинанья «во имя» —  
во имя добра с сундуками своими?  
Терзают природу во имя науки  
пречистого Разума грязные руки.  
И мучают слух второгодние школы  
Греча, Булгарина и Шишкова.  
Очнитесь, взгляните хотя бы на численник,  
пречистого Пушкина стражи нечистые...  
Да если бы Пушкин, кем нынче божитесь,  
явился бы к вам, второгодники-витязи,  
кому б он поведал строфу заповедную?  
Конечно, не с вами б он был, а с поэтами...

1977



Когда человек боится —  
выделяет адреналин.  
Это знают собаки  
и, лая, бегут за ним.

Когда ты вбегаешь в комнату  
в черемуховом платье,  
за тобой залетают осы —  
ты выделяешь счастье.

Я знаю одного приятеля  
с тухлым взглядом деяги.  
Над ним все летают мухи.  
Патоку он выделяет.

1980

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗНАКОМСТВЕ

«Блондинка, рост 172 см, стройная, образование — высшее. Желает познакомиться с женщиной...» «Хочу познакомиться с хорошим человеком до 55 лет для совместной жизни...»

Из вечерней газеты «Голос Риги»  
28 августа 1980 г.

«Блондинка, стройная,  
172-сантиметровая,  
что любит кулинарию и книги» —  
опубликована,  
как ордер просмотровый,  
в вечерней «Риге».

Мне это имя, кажется, знакомо...  
Нога балетная. Улыбка бабьелетняя.  
Под шкаф скакнула  
незабвенная заколка...  
По объявлению! по объявлению!

Кругом двухкомнатные женщины петитом.  
Спрос на мужчин от 40 и до 50-ти.  
Под ними руки  
стерты Моцартом и стиркою.  
Какие страшные судеб  
четверостишия!

Идут по улицам, взрослея и старея,  
и мнут перед редакцией перчатки  
самые честные стихотворения.  
Не всех печатают.

Несложившиеся книги.  
Неопубликованные невесты.  
Я не печатаюсь в вечерней «Риге»,  
чтоб им было больше места.

Где ты идешь сейчас, какой дорогой?  
Очки поправив.  
Бездонные глаза — как некрологи  
в черной оправе.

По всей стране конверты запечатывают.  
Хочет кодро.  
Наверно, пошло, что в газете их печатают.  
Но не печатать — подло.

1980

## ПРОВОДНИЦА

Ты служишь проводницей в поезде,  
разносишь чай или буфет.  
На платье темное — от пояса  
передник беленький надет.

И в этом стираном переднике —  
как будто церковь из воды —  
есть отражение неведомой  
и затонувшей чистоты.

Судьба тебя несет по свету  
меж пьяных и ночных забот.  
Давно, что отражалось, нету.  
Но отражение живет.

Когда-нибудь проезжий деятель  
Покров увидит на Нерли.  
Поймет, чему он был свидетель...  
Тебя составы унесли.

1980





Я вернусь, когда в город уйдешь,  
и уткнусь в твой плащок на ватине.  
И пойму, что шел с вечера дождь  
и что из дому ты выходила.

Выбегала с крыльца до ворот,  
возвращалась понуро к крылечку.  
Хорошо, когда любит и ждет,  
но от этого только не легче.

1979

## СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Два берега с мостом понтонным  
глядят, как редут на редут.  
На левом, залиvistом, тонут.  
На правом спасатели ждут.

Когда правый берег в подпитии,  
кричит он в болотную гладь:  
«Топите, топите, топите,  
чтоб было кого спасти!»

И эхо лукавою гладью  
доносит русалочью прить:  
«Спасайте, спасайте, спасайте,  
чтоб было кого топить!»

1979

## СПАСАТЕЛЬ

Он, говорят, сидел за человека.  
Спасатель он.  
Свези меня, спасатель, через реку,  
Антихарон.

Когда он возвращается в субботу  
с тяжелым дном,  
грозит ему из лодки безработный  
старик Харон.

Немало душ он перевез оттуда —  
темна вода, —  
с тех пор как он неверную подругу  
отвез туда.

Немало жизней в форме и гражданских  
взял с глубины,  
но женщина не хочет возвращаться  
с той стороны,

где прошлого пленительные возгласы,  
где колются, где пьют одеколон...  
И отвернет свое лицо без возраста  
Антихарон.

Подружка-жизнь, красивая дуреха,  
маши-маши с ромашковой горы!..  
И делает реке татуировку  
рой мошкары,

---

Другой — но от заката ли? неясно —  
рой золотой  
толчется ореолом неотвязным  
над головой.

Он дом завел. Когда свободен, удит.  
Дети пошли.  
А тепленький когда, угрюмо шутит:  
«Утопленники жизнь мою спасли».

1979

## ЛОНДОНСКИЙ МОСТ

(на мотив В. Смита)

О соблазне пели люди, о соблазне...  
Образ Банко отпечатала вода.  
Упаси нас от слепой водобоязни,  
крест моста!

О спасенье пели люди, о спасенье...  
Дышат ребра, словно бочек обода.  
Как неверье, обступает нас по шею  
та вода.

«Совладайте,— пели люди,— совладайте...»  
Смерть из жизни побрела на водопой.  
Мне открылась перспектива благодати  
над водой.

Воду темную мы пьем как голубую.  
Гули-гули, моя горлинка-река!  
«Аллилуйя,— пели люди,— аллилуйя»,—  
в честь греха.

Ветер скверны задувал мою лампаду.  
Лес бирнамский проступал через погост.  
И в туманы падал, падал, падал  
Лондонский мост,

1977



Пусть на суше взывает доблестно  
неплавающий народ,  
безымянное мужество совести  
к утопающему плывет.

Пусть молва потом обознается.  
Ты, кто спас, уплыл под шумок.  
Пускай помощь твоя безымянная,  
не себе — человеку помог.

Ты потом его в городе встретишь.  
И, спасенную руку пожав,  
«Бог помог!» — ты шутливо ответишь.  
И окажешься прав.

1979

НИКОГДА

(на мотив В. Смита)

Я тебя разлюблю и забуду,  
когда в пятницу будет среда,  
когда вырастут розы повсюду,  
голубые, как яйца дрозда.

Когда мышь прокричит «кукареку».  
Когда дом постоит на трубе,  
когда съест колбаса человека  
и когда я женюсь на тебе.

1978

## ЭКОЛОГИЯ

Долой меньшинства божество!  
Отдай большинству украденное.  
Эксплуатируемое большинство  
свергает аристократию.

Долой меньшинства божество!  
Грабителей разоружили.  
Эксплуатируемое большинство  
свергает буржуазию.

Долой меньшинства божество!  
Глядит на людей с любопытством  
эксплуатируемое большинство  
пернатых, рогатых, копытных...

1978



## ПРОЩАНИЕ С ВЕНЕЦИЕЙ

Вода в бензиновых разводах,  
венецианские потемки  
и арок стрельчатые своды  
сродни гусиным перепонкам.  
Я не разгадывал кроссворды.

Дорога до аэродрома  
в моторной лодке проходила.  
Во всем тревожило огромно  
наличие этой третьей силы.  
Чей труп распухший под паромом?

Кого убила ты, Венеция?  
В свиданье с другом через годы,  
во всем — свинцовое неведение  
воды и гибельной свободы.  
Какое вечное не вечное!

Ступни гусиные показывая  
пред прибывающей водою,—  
Венеция? —  
Царица Савская —  
поддерживаешь подолы,

1976



Когда всегда передо мной  
прикидываешься беспечной,  
я думаю, какой ценой  
твой свет всегдашний обеспечен.  
Мы были счастливы в воде,  
где нету городской пыли,  
где ты естественна и где  
твои красивые заплывы.

Как трудно быть тебе земной,  
казаться из земного теста  
весною, летом и зимой  
и только месяц быть естественной.  
Ах, скука, скука, скукота,  
где город и бензином морят,  
ах, суша, суша, сухота —  
а ты для бога и для моря.

1978



Как хорошо найти  
цветы «ни от кого»!  
Всю ночь с тобой «на ты»  
фиалок алкоголь.

Ничьи леса и гать  
вздохнули далеко.  
Как сладостно слагать  
стихи ни для кого!

1977

## ЦВЕТЫ НА СТВОЛЕ

Как я всегда жалею  
эти цветы без веток —  
ствол обхватив за шею,  
чтоб не сорвало ветром!

Эти цветы-ошейники  
так и не разовьются.  
Есть в них черты отшельников  
даже среди многолюдства.

Есть в них укор внимательный,  
детская, что ли, старость?  
Смерть — преступленье матери,  
если дитя осталось.

Что ты, дитя приюта?  
Выплакалась, не надо...  
Матери — иуды.  
Тернии интернатов.

1977

## ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМНОМ ПРИТЯЖЕНИИ

Скоропортающиеся поэты!  
Успейте сказать, пока помните это.  
Рисуйте, художники, денно и ночью,  
руки напряженье под ноющей тяжестью ноши.

Снимайте, киношники, ночью и денно  
падение плодов в измерении том,  
где, тяготы уравновесив, младенец  
оттягивал чаши  
земных полновесных мадонн.

Спешите вдыхать дефицит кислорода!  
Листву в целлофан человек обернет  
и будет, как из персональной коровы,  
из липки под вечер доить кислород.

Как им тяжело в невесомой свободе!  
Счастливчик чугунную гирю найдет, точно  
грех.  
В ней будет запаян последний глоток  
кислорода.  
Он вскроет и выпьет ее, как орех.

И он ощутит позабытую сладкую тяжесть,  
как ноша ягненка вздымает орла.  
Он женщине про беспокойство расскажет.  
И женщина скажет ему:  
«Тяжела».



Твои волосы — долгие на удивление.  
Ты еще не подруга, но уже не сестра.  
Дай мне

три километра  
твоего волшебного времени —  
от Арбата и до двух утра.

Ты причислена к клубу лучших женщин  
планеты.  
Все в жизни сдвинулось.

Границ нет.  
Меж наших плечей сияют просветы —  
от сантиметра до тысячи лет.

Твоя серая кепочка — как жареный фисташек,  
где чуть-чуть расщеплена,

как клювик,  
скорлупа...  
Как щебечет жизнь твоя на дистанции  
от Данте до Киевского моста!

1980





Зашторены закаты,  
а может, день за кадром,  
иное время мира?  
За что ты мне такая,  
с бескрайними ногами —  
отсюда до Таймыра?

Наполнены стаканы,  
осушены стаканы,  
и подняты стаканы.  
За что? За наши тайны.  
За то, что загадали.  
За что ты мне такая?

За что я потакаю  
твоим дурацким выходкам?  
Тебя бы батогами...  
На людях — таратайка,  
а рядом — тише выдоха,  
за что ты мне такая?

Чуть проступают позвонки,  
как снегом скрытая дорога.  
Не «напиши», не «позвони» —  
побудь такую, ради бога...

Когда с тобою говорим,  
во рту — как мятная истома.  
Я — гений, если я достоин  
назвать тебя и быть твоим.



## НЕДОУМЕНИЕ

Я встретился с Недоуменьем.  
Недоумение звали странно.  
Предъявила как документы  
длинноногие свои данные.

Недоуменною медуницей  
пахли глаза твои после экзамена.  
Ты потерялась в толпе Москвы,  
в грохоте нашей цивилизации,  
словно волшебная спица вязальная —  
недоуменная тихая спица  
с кроткою бусинкой головы.

Длинноногое недоуменье,  
как ты связала тихой спицей  
дни и дела!  
Пел переделкинский филумела.  
Громкие музы над нами шумели.  
Я обожаю женские спичи.  
Муза безмолвная рядом прошла.

Втискивал в щели монеты негнутые  
я в автоматы райцентров и стран,  
недоуменно пил трехминутный  
твоего голоса тихий стакан.

Недоумение от свершившегося,  
недоуменье от предстоящего,  
но доминировало недоуменье —  
как же мы жили все это время?

---

Как мы жили без недоуменья?  
В мире, спрессованном как пельмени  
меж монументов добра и зла?

Каждое утро, как умываюсь,  
что тебя не было — недоумеваю,  
недоумеваю, что ты была.

А именины недоуменья,  
когда завтрашнюю газету  
я приносил тебе, разбудя,  
и расстилал простыней непочатую,  
и на плече твоём отпечаталась  
лучшая строчка моя про тебя?!

Это такая печати свобода,  
живые стихи.  
Всюду небесным громоотводом  
бродишь со мной, отпуская грехи,—  
так в непогоду луч удлинённый,  
зябкий, ошибшийся, удивлённый,  
ступит на землю, прорвавши верхи.

Есть в тебе что-то от тихого омута,  
сонной русалки, прописанной в комнате,  
есть в тебе помесь кельи и Клея  
и неприкаянного поколенья.  
Видел я сам, как влетаешь ты в форточку,  
узкие бедра надравив фосфором.

Если размолвка набрякнет над домом,  
просишь ты, лобик наморщив в резьбу,  
с мукой какой-то недоуменной:  
«Можно, я чашки сейчас разобью?»

Бей, молодчага, все, что имеем,  
дочь моих строчек, свобода и Русь!..  
Вечно встречаюсь с недоуменьем.  
С недоумением расстаюсь.

Как я расстался с Недоуменьем?

---

Это еще не случилось — случится.  
Стану счастливым, стану надменным,  
но это буду не я, а вы  
вряд ли узнаете визуально  
женщину эту, взглянувшую с пирса,  
будто блеснувшая спица вязальная, —  
недоуменная божья спица  
с кроткою бусинкой головы.

1981

# Андрей Полисадов

---

Поэма

## АРХИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

В 1958 году в стихотворении «Прадед», описывая Полисадова, я наивно знал лишь наше семейное предание о нем. Что я знал тогда?

## ПРАДЕД

Ели — хмуры.  
Щеки — розовы.  
Мимо  
    Мурома  
мчатся развални.

Везут из Грузии!  
(Заложник царский.)  
Юному узнику  
горбиться  
    цаплей,  
слушать про грузди,  
про телочку яловую...  
    А в Грузии —  
    яблони...  
    (Яблонек завязь  
    гладит, маня.  
    Чья это зависть  
    глядит на меня?!)

---

**Где-то в России  
в иных временах,  
очи расширя,  
тощий монах  
плачет и цепи нагрудные гладит...**

**Это мой прадед.**

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого — не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в военной гимназии, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: «Грузины приехали...» Помню, как, шутливо пикируюсь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользящую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоём прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — Благовещенский муромский собор на Посаде, ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее, не примечательное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда млеет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и непастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовым, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуρο-сиреневым. Это камень-настро-

---

ние. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, храпят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей был связан и с Грузией и с Россией. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и первый распространил там христианство.

Летопись «Картлис цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» (с. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре — «Повести временных лет»: «...въшедь на горы сия, благослови я, и постави кресть...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Муром и племени «мурома».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно изымается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя Полисадова, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

У Брокгауза и Ефрона можно прочесть, что названный брат Полисадова Иоанн, с кото-

---

рым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. О нем же увлеченно пишет Ал. Бенуа в недавно изданных у нас мемуарах.

Андрей Полисадов был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных реченных и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «пта» аукался с грузинским «прта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза — серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день пасхи на могилы здесь клали красные яйца и плескали вино — все возвращало к обычаям его края.

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосном песнопении ностальгически слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. «И, может быть, — думалось ему, — полифонные «ангелоподобные» хоры допелись к нам не от греков, чье пение унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом — «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, подалась в изучение археологии Кавказа. Неукротимый характер его сказался в решительной перестройке собора.

---

Несколько раз в своей рукописи Полисадов возвращается к арке, пробитой им в северной стене храма. И сейчас она поражает смелостью. Арка — в полстепы, она напоминает распахнутые пропорции арки в Гелати. Эта решительная кривая выдавала в нем соотечественника будущих пространственных дерзаний Давида Какабадзе. Он пытался распахнуть, усовершенствовать свое заточение.

Да и назначение Полисадова в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодно 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения Иверской в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Иверия — Грузия. Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами Иоанном и Евсимием в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровенней... И что бы я мог без помощи моих добровольных спутников по поискам — владимирского археографа Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии стольких поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Родня моей матери жила во Владимирской области. К ним я приезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда доила, пригова-



---

ривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Родители ее были еще крепостными Милославских. Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Так же дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены и остывающая печь, в которой томились кринки с коричневой корочкой топленого молока. Золу заматали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного со щемлящим запахом провинции. Вносили керосиновую лампу. Перед ней, колыхаясь, бежали тени. Над высоким стеклом струйкой дрожал нагретый воздух. Сладко дурманя, пахло пагаром фитиля. Мне, продукту многоэтажного города, это было уже чужим, но непонятно тянуло.

О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Апатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрышкина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк струился слегка женственными изысканными длинными завитками.

Было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и predetermined, не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия совпадений.

Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонтенок, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, 18 июня 1877 года в Муроме, исследуя церковь, построенную Бармой и Постником, будущими строите-

---

лями Василия Блаженного, или, как теперь считают, постником Бармой, археолог граф А. С. Уваров раскопал останки мамонта, о чем во «Владимирских губернских ведомостях» за 26 августа 1877 года напечатал статью Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка.

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный начет, не умствующая кабалистика, не мистицизм, имя им — жизнь человеческая. Жизнь эта и есть поэзия.

## ПРОЛОГ

Взойдя на гору, основав державу,  
я знал людскую славу и разор.  
В чужих соборах мои кони ржали —  
настало время возводить собор.

Немало в жизни видел я чудовищ.  
Они пойдут на каменный узор.  
Чтоб было где хранить потомкам овец,  
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара  
я оставался все-таки собой.  
В Архитектуре главное, пожалуй,  
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест,  
Казбек от его звона задрожит.  
Положен во главу липовый камень.  
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем», —  
сказал мне краевед Золотарев.

I

В лето седмь тысяшь шесть десят первом году Государь и Великий князь Иоанн Васильевич IV вся Русии приде во град Муром и молятеся в первоначальной церкви Благовещенья (деревянной), помощи прося со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здѣ устроить храм каменный Благовещенья». Государь Казань взял в того же году, в лето, прислал в Муром каменщиков.

*«Житие Константина, Феодора и Михаила муромских чудотворцев» (древнерусская повесть XVI в., со списка, хранящегося в Муромском музее, к-7165, мм-30152)*

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называлось же место это Посадам. В память пребывания в соборе в 1812 г. Московской Иконы Иверской БМ установлено празднество ежегодно 10-го сентября.

*Из описания А. Полисадова мая 31 дня 1887 г.*

**Кто ты родом, Андрей Полисадов?  
Почему, безымянный заложник,  
малолетнее чадо,  
привезен во Владимир с Кавказа?  
Значит, надо. В архивах не сказано.  
(Шла война. Мятежи грозили.  
И Царевич бежал к безбожникам<sup>1</sup>.)**

**Его спешно усыновили,  
дали имя: Андрей Полисадов.  
Домом стал Собор на Посаде.  
«Кто я?! Кто?!» — взвоят выросший ссыльный.  
Утешает собор его: «Сын мой...»**

---

<sup>1</sup> «Грузинский царевич Александр Баграт через Турцию бежал к шаху» (Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886—из библиотеки Полисадова).

## II

«Господи, услышь меня, услышь мя, господи!..

На границе Горьковской и Владимирской области  
я стою без голоса, в неволю отданный,  
родина, услышь меня, услышь мя, родина!  
Назови по имени, пошли горных коз пасти.  
Ты ж сама без голоса. Услышь ее, господи...»

И летят покойники и планеты по небу —  
«кто-нибудь услышь меня, услышь мя кто-нибудь...»  
Я же твой ребенок, ты ж не злоумышленник.  
Мало быть рожденным, важно быть услышанным.  
Смыслы всех мятежников, взрывы современницы:  
«Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...»

«Это я, господи! Услышь мя, господи!» —  
на углу Горького и Маяковского  
ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине:  
«Господи, услышь меня, господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горекую:  
«Господи, услышь меня, услышь мя, господи...»

## III

Полисадов Андрей (Алексей), год окончания 1834,  
по 1-му разряду, 5-му номеру, 1836 — свящ. с. Шиморского,  
1866 — Москва, 1-го класса, Новоспасский монастырь, 1882 —  
Благовещенский Муромский монастырь.

*Малицкий Н. В. «История Владимирской  
Духовной семинарии» (выпуск 2-й)*

С 1882 г. Благовещенский собор управлялся архимандритами (первым был Полисадов).

*Травчатов П. В. «Город Муром и его достопримечательности» (Владимир, 1903)*

**Русифицированного мцыри  
в семинарии учат на цырлах.  
В восемьсот тридцать пятом женился.**

---

Его ждал Собор на Посаде.  
Темной мыслью белых фасадов  
стал он. Плен не переменился  
оттого, что купцы прикладывались  
к кольцу с тоскливым аквамаринном.

Умер муромским архимандритом.  
Отвлеклось родословное древо.  
Его дочка, Мария Андреевна,  
дочь имела, уже Вознесенскую,  
мою бабу, по мужу земскую.  
Тут семейная тайна зарыта.  
Времена древо жизни ломали.  
Шарил семинарист знаменитый —  
в чьих анкетах архимандриты?  
У нас в доме икон не держали,  
но про деда рассказ повторяли.  
И отец в больничных палатах  
мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.  
Город чужд экскурсантам и турам.  
Шел июль. Сенюкосы духмяные.  
За Окою играли Тухманова.  
Шли русалочки со смешочками,  
огурцы улетая сочные.  
По тропинке меж дикой малины  
поднималась к собору мешочница  
на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева.  
«Жду вас. Ваша могила готова.  
Ваше тело сто лет без надзора.  
Дело ваше! Я б начал с собора».

Мое тело меня беспокоит.  
В нем какой-то позыв незаконный.

## IV

Муром целомудренный. Над Окой хрустальной  
посидите тайно.

Не забаламутьте вечер отошедший.  
Чтите целомудренность отпошений.

Не читайте почты, вам не адресованной,  
не спугните чувства вашего резонами,

не стучите дворником в окна к ласкам утренним,  
все двоим дозволено — если целомудренно.

Эта целомудренность отношения  
по лесам кому-то говорит отшельничать,

там нельзя охотиться, там стоял Суворов,  
соловьи обходятся без суфлеров.

Мудрость коллективная хороша методю,  
но не консультируйте, как любить мне родину.

(И когда усердные патриоты мнимые  
шлют на нас публичные доносы анонимные,  
просто из безгливости природной  
не полемизирую с оборотнем.)

У любви нет опыта, нету прегрешения,  
только целомудренность отношения.

## V

«Нет ли в ризницах церковных старинных омо-  
форов, сакосов, фелоней, епитрахилей, палиц, стиха-  
рей, орарей, мантий и власяниц?» — «Нет. Кроме че-  
тырех княжеских шапочек. Они малинового бархата,  
шиты золотом и серебром».

*Из рукописных ответов архимандрита А. По-  
лисадова на вопросник Академии художеств  
мая 31 дня 1887 г.*

---

Сохранилась соборная опись.  
 Почерк в усиках виноградных  
 безымянного узника повесть  
 заплетал на фасад и ограды.  
 «8 старых опор. 8 поздних.  
 Консультировал Барма и Постник»<sup>1</sup>.  
 И ложился в архив синодальный  
 Муром с привкусом цинандали.

«Пол чугунный и пол деревянный,  
 называю вас, сам безымянный!»  
 Византийские ризы расшили  
 птицы будущего Гудиашвили.  
 В этом перечислении скорбном,  
 где он пел золотую тюрьму,  
 я читал восхищенье соборам  
 и неясные счета к нему.

«Не имеются ль мощи изменников?  
 Сколько окон? Живая ль вода?»  
 «Не имеется.  
 Жизнь — одна».  
 «Матерь Иверская, икона,  
 эвакуированная от Наполеона,  
 мы судьбой с тобой схожи, товарка.  
 Так же будешь через столетье,  
 пянча сына, глядеть в лихолетье  
 из проема в вагоне товарном.

Когда край мой с моей колокольни  
 возвещает печаль и успехи,  
 из второй моей родины, горной,  
 через час возвращается это.  
 Кто ты родом, костыль палисандровый?»  
 «Помолись за меня, Полисадов...»

---

<sup>1</sup> «Ступенчатый трюп колокольни свидетельствует, что в Муроме работали Барма, Постник или кто-либо из членов их артели» (Воронин Н. Н. Сборник работ. Л., 1929).



---

«Я молюсь за царя Александра,  
 что когда-то лишил меня имени.  
 Тяготят теперь имя и сан его.  
 Хочет он безымянную схиму.  
 Спор решает душа, не топор».  
 «Да, отец», — отвечает собор.  
 Так толкуют в своем разладе  
 дух смиренный и дух злорадный:  
 «Погоди, Собор на Посаде!»  
 «Подожду, Андрей Полисадов».

Как сейчас они сходны судьбою!  
 Человек, одинокий в соборе,  
 и собор, одинокий в истории,  
 и История — в мертвых просторах.  
 Завитую пожарскую чашу<sup>1</sup>  
 оплетал виноград одичавший.  
 Завитком зацепилась усатым  
 подпись бледная: «Полисадов».

## VI

Почему он бежать не пытался?  
 Не из страха ж или конвоя?  
 Полюбил он лес за Окюю,  
 это поле с немым укором,  
 где тропинка — прямым пробором,  
 как у всех его прихожанок.  
 Полюбил он хмурую паству,  
 русых узников государства.  
 Утешая печалей толпы  
 в двух церквах, холодной и теплой,  
 разделенных стеной допотопной,  
 вдруг он понял, что в них нуждался,

---

<sup>1</sup> «Чаша водосвятная красной меди, под рукоятку вычеканены слова: «Лета 7147 цюля 17-го сию чашу очищения приложил для Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Муроме на Посаде, Боярин Князь Дмитрий Михайлович Пожарский» (из ответов А. Полисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. Полисадов ошибся: она из сплава олова.

---

в них он ббольшую боль увидел,  
чем свою. И для них осталая.

Ежедневно он шел к ограде,  
в пояс кланаясь аху фасадов:  
«Добрый день, Собор на Посаде».  
«Добрый день, Андрей Полисадов».

Обмирала со свечкой школьница —  
глаза странные, золотые...  
Это первое чувство молиты!  
Он ее ощущал затылком.  
Он томился перед собором,  
золотым озаренный взором.  
Но когда совратитель исподволь  
прошептал ему что-то площадно,  
он избил его среди исповеди,  
сломал посох и крикнул: «Прощаю!»  
После сутки лежал на плитах.  
Не шутите с архимандритом.

## VII

Подари мне милостыню, нищая Россия,  
далями холмистыми, ношей непосильной.

Подвези из милости, грузовик бродячий,  
подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню,  
ну а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.  
Жизнь — подарок, милостыня. Раздавайте  
милостыню!

Когда ты одета лишь в запах сеновала,  
то щедрее это платьев Сен Лорана.

## VIII

В 1979 г. реставрированы интерьеры, колокольня ныне действующего Благовещенского собора.

*Из ведомости*

**Реставраторы волосатые!**  
 Его дух вы стремитесь вызвать.  
 Голубая тоска Полисадова  
 в ваши пальцы въелась, как известь.  
 Эти стены — посмертная маска  
 с его жизни, его печали —  
 словно выпуклая азбука,  
 чтоб слепые ее читали.  
 Муромчанка с усмешкой лисей  
 мне шепнула, на свечку дунув:  
 «Новый батюшка — из Тбилиси».  
 «Совпадение», — я подумал.  
 Это нашей семьи апокриф  
 реставрировался в реальность.  
 Не являюсь его биографом,  
 но поэтом его являюсь.  
 Эхо прячется за колонною,  
 словно девочка затаенная.  
 Над строительными лесами  
 слышу спор былых адресатов:  
 «Погоди, Собор на Посаде!»  
 «Подожду, Андрей Полисадов!»

## IX

**Реставрируйте купол в историческом кобальте!**  
 Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.  
 Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями.  
 Возвратите улыбку на губах, что заплакали.  
 Возродите в нас совесть и коня Апокалипсеа.  
 Реставрируйте новое, что живое пока еще!  
 Что казалось клиническим с точки зренья приказчика,  
 скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.  
 Чистый вздох стеклодувши из глуши гусь-  
 хрустальной  
 задержался в игрушке модернистки кустарной.  
 Чтобы лет через тыщу реставратор дотошный  
 понял вечную душу современной художницы.

## X

Он остался в архивах царевых,  
 в подсознание Золотарева.  
 Он живет по Урицкого, 30.  
 В доме певчине половицы.  
 Мудр хозяин, почти бесплотен,  
 лет ему за несколько сотен.  
 Губы едкие сжаты ниточкой.  
 Его карий взгляд над оправой,  
 что похожа на чайное ситечко,  
 собеседника пробурлит.  
 Пимен нынешний не отшельник,  
 я б назвал его пимен-общественник.  
 Он спасает усадьбу Некрасова,  
 окликая людей многократно  
 от истицы Истории имени.  
 Бескорыстно-районные пимены!  
 Боли, радости, вами копимые,  
 ваша память — народная совесть.  
 Я ему рассказал свою повесть.  
 «Полисадов?» — он спросит ехидно,  
 лба морщины потрет, словно книгу.  
 И из недр его мозга с досадой  
 на меня глядел Полисадов.

Профиль смуглый на белом соборе,  
 пламя темное в крупных белках,  
 и тишайшее бешенство воли  
 ощущалось в сжатых руках.  
 (Вот таким на церковном фризе,  
 по-грузинскому царевым,  
 в ряд с Петром удивленной кистью  
 написал его Целебровский <sup>1</sup>.)  
 Но не только в боре с собою, —  
 посох сжав, побелела рука —  
 в каждодневном боре с собором.  
 Он в нем с детства видел врага.

---

<sup>1</sup> Целебровский П. И. (1859—1921) — художник 1 класса, расписывал собор по заказу Полисадова (см.: К о н д а к о в Н. Словарь русских художников).

В нем была бы надменность и тронность,  
 если бы не большие глаза  
 и посадки грузинская стройность,  
 что всегда отличала отца.  
 «Что тебе, бездуховный отпрыск?» —  
 как бы спрашивал хмурый образ.  
 Но материализм убеждений  
 охранял меня от привидений.  
 Молодая жена Валентина  
 чай подаст и уложит сына.  
 Долог спор об усадьбе Некрасова  
 и о том, что история — классовая.

## XI

Как Россия ела! Семга розовела,  
 луковые стрелы, студень оробелый,  
 красная мадера в рюмке запотела,  
 в центре бычье тело корочкой хрустело,—  
 как Россия ела! — крабов каравеллы,  
 смена семь тарелок — все в один присест,  
 угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —  
 Ева змея съела, яблочком заела,  
 а кругом сардели на фарфоре рдели,  
 узкие форели в масле еле-еле,  
 страстны, как свирели, царские форели,  
 стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,  
 мясо в центре пира, а кругом гарниры —  
 платья и мундиры, перси и ланиты,  
 а кругом гарниры — заливные нивы,  
 соловьи на ивах, странники гонимые,  
 а кругом гарниры — господа, храни их! —  
 сонмы душ без имени...  
 позабывши перст,  
 есть дворянский округ, а в окошках мокрых  
 вся Россия смотрит, как Россия ест.

## XII

Я твою читаю за песню песнь:  
«Паче всех человек окаянен есмь».  
Для покорных жен, для любовных смен  
«Паче всех человек окаянен есмь».  
Говорящий племянник зверей и роц,  
я единственный в мире придумал ложь.  
Почему на Оке от бензина тесьмь?  
Паче всех человек окаянен есмь.  
Опозорен дом, окровавлен лес,  
из истории стон, из Гайаны — весть,  
но кто кинет камень, что чист совсем?  
В одного камнями кидают семь.  
Но, отвергнув месть, как пройдя болезнь,  
человек за всех неприкаян есмь —  
ставя храм Нерли, возводя Хорезм,  
человек за всех покаянен есмь.  
Почему ж из всех обезьян, скотин  
осиянен есмь человек один?  
Ибо «Песней песнь» — человечья песнь.  
Человек за всех богоявлен есмь.

## XIII

Это было в марте, в вербном шевелении.  
«Милый, окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.  
Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной.  
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Глаза — благовещенские, желтые, янтарные...  
Первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...  
Милый! Окрести меня, совершеннолетнюю!

---

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,  
буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу немислимом, схваченная платьем,  
встану с коромыслом — молодым распятым!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.  
Я тебя простила, слепой священник...

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.  
Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.

«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во  
взорах...»  
Содрогнулось чудище пустого собора.

#### XIV

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, щитовой, главы покрыты железом и крашены медяной, пробита арка для соединения храма с теплой церковью, клиросы отделены киотами, степы заново покрыты живописью.

*Из описания Полисадова*

...были заподозрены в разброске прокламаций  
два послушника Благовещенского монастыря.

*Из «Донесения Влад. Губернского  
Жандармского Управления»*

Он случившимся тяготился,  
золотой заложник истории!  
В середине шестидесятых  
он от дел мирских удалился.  
Сбросил имя. Стал Полисадов  
настоятелем Алексием.  
Настоятель был прогрессивен.  
Сгоряча собор перестроил.

Церковь теплую свел с холодной  
 аркой циркульной, бесколонной,  
 полстены проломив при народе.  
 Арка ахнула переходная  
 как глубокий вздох о свободе!  
 А над аркой, стену осия,  
 повелел написать Алексия.  
 И сказал, как в зеркало глядя:  
 «Чья взяла, Собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.  
 Человек расквитался с историей.  
 Он стоял, свободы отведав.  
 Был он воин. Он был мужчина.  
 Распрямилась жизни пружина.  
 Звал художников<sup>1</sup>. Знался с Уваровой<sup>2</sup>.  
 Своим весом спасал арестованных.  
 Например, когда пару монахов  
 (Агофангела и Евлахия)  
 обвинили в расклейке листовок.  
 Было страху!  
 Революция только заваривалась.  
 Но уже завезли в ограду  
 камень редкого лабрадора  
 цвета выцветшего граната —  
 камень с именем «Полисадов».  
 И Уварова губы кусала.  
 И вздохнуло эхо фасадов:  
 «Чья взяла, Андрей Полисадов?»

Похоронен он у Собора  
 на Посаде.

<sup>1</sup> Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.

<sup>2</sup> Уварова Прасковья Сергеевна — графиня, жила под Муромом, с 1884 г. председательница Императорского Археологического общества, автор 174 работ, в том числе «Могильники Сев. Кавказа». Была инициатором реставрации храма Свети Цховели (Историческая энциклопедия).



## XV

Чья ты маска, Андрей Полисадов,—  
дух мятежный семьи Багратов?  
друг и враг шамхала Тарковского?  
христианский вариант мюрида?  
на соборной стене осадок?  
Золотой мотылек бестолковый  
залетел на твой светоч адов.  
Ты в миру «Андрей Полисадов»,  
а до мира, а после мпра?  
Смысл бессмертный и безымянный,  
что хотел ты в земных временках,  
став Андреем и Алексием?  
Почему из людского стада  
духи Грузии и России  
тебя выбрали, Полисадов?  
Почему против воли пита  
то анафемю, то стоном  
голос муромского архимандрита,  
словно посох, рвет микрофоны?  
И влечет меня, и влечет меня  
что-то горнее, безотчетное,  
гул низинный вершин грузинских...  
Может, мне Каландадзе кузина?

## XVI

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.  
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как  
примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную.  
Но о крови вспомним мы, только в грудь  
ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингури,  
где гора молитвенна, как игумен.

---

Эта кровь невольная в моих темных жилах  
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом,  
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

Это наши пропасти, где мосты мизинцами,  
это наши прописи рыцарства грузинского.

Может, есть отдельные короли редиса,  
но делился витязь шкурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом  
Леонидовичем,  
тер щекой сердечною мокрые ланиты.

Вновь ночные фары — может, мои кровинки —  
на горе рисуют полосы тигровые.

И какой-то тайною целомудренной  
тянет сосны муромские к пицундовским.

## XVII

Когда сердце устанет от тины  
или жизнь моя станет трудней,  
календарь на часах передвину  
на тринадцать отвергнутых дней —  
перейду из Пространства во Время,  
где Ока и тропинка над ней.

И тогда безымянный заложник  
выйдет в сумерках на косогор,  
как слепую белую лошадь,  
он ведет за собою собор.

---

И, обнявши за белую шею,  
 что-то шепчет на их языке —  
 то, о чем рассказать не сумею.  
 А потом они скрылись к реке.

ЭПИЛОГ

Мой муромский мюрид, простимся, мой  
колодник!  
 Я обещал собор. Я выстрадал собор.  
 Меж теплой стороной и стороной холодной  
 сквозит в стене дыра, пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.  
 Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?  
 Лампадкой ты светишь в мозгу Золотарева,  
 в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни.  
 Одну зову я «Ты», другую — «Родион»,  
 и безымянный звон над башней самой зряшной,  
 собор — не Пантеон.

Распущен мой собор на волю, за грибами.  
 Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.  
 Одна из башенок мотор разогревает.  
 Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топтит.  
 По баллам недобор для нашенских сорбонн.  
 Но в сердце у нее тысячелетний опыт —  
 куда профессору!  
 Все это мой собор.

Бродите по земле, соборы нового типа!  
 Между собой моей вы связаны судьбой.  
 За счастье вас любить — великое спасибо.  
 И это мой собор.

---

Пуškai летят в собор напрасные каменья.  
Из праздных тех камней сработаем забор.  
Живу я как пою — пою я как умею.  
Свобода — мой собор.

Однажды ошибаются саперы.  
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон.  
Горят огни лампад вселенского собора,  
и без лампад огни в соборе, во втором.

1979

# Архистихи

---

В моем жизненном и душевном опыте волей случая и влечения слились две стихии — поэзия и архитектура. Получаются архистихи.

У этих двух муз общие цели — работать и для сегодняшнего человека, и для Вечности. Есть общее и в методе.

Скажем, в архитектуре существует понятие «парящих точек». Ими увлекался академик Иван Владиславович Жолтовский. Он сам многие годы был магической точкой притяжения нашей архитектуры. Жил он в загадочном особняке на улице Станкевича, рядом с кирхой, где сейчас находится студия звукозаписи «Мелодия». Однажды мне с сокурсником довелось посетить его келью. Пергаментный череп зодчего освещивал в вековом полумраке. Патриций пропорций, он проповедовал Палладио и выцветшим взором цепко вглядывался в «парящие точки» жизни.

Напомню о них тем, кто запомнил.

Точка пересечения осей несущих опор архитектуры находится вне здания, как бы паря над ним. Она невидима для непрофессионалов, но именно она влияет на строй архитектуры.

Так, например, колонны классического Парфенона построены слегка наклонно, «с развалом», как расставленные ноги. Их оси, если

---

продлить их, сходятся над храмом в одной точке, которая расположена в золотом сечении по отношению к Парфенону. Такой магический центр и называют в архитектуре «парящей точкой».

Точно так же оси энтазиса стен и пилястр Троице-Сергиевой лавры сходятся в одной небесной точке. Все здание как бы стремится к ней. Когда позднее зодчий Ухтомский построил колокольню, он завершил ее именно на уровне «парящей точки». Он инстинктивно уловил эту высоту.

Магнитная точка поэзии часто находится вне текста стихотворения, как бы пара над ним. К ней устремлено напряжение стиха, к ней тянутся ветки и лепестки строк и рифм. Если такой точки нет или она ослабевает, лепестки опадают.

Прекрасная дама была магической точкой Блока. В «Двенадцати» точка уже иная.

Кованый «Медный Всадник» стал архитектурным центром композиции города, людских поколений, нашей культуры. Он является примером для нас.

Если мы поднимем руку в небо, то наше тело представится как цепь отношений. Кромка биополя, ладонь, собственно рука, грудь до пупка и ноги — эти части растут в отношении золотого сечения по направлению к земле.

Наш глаз инстинктивно ищет соотношения с размерами Земли. Не случайно, например, купол римского Пантеона представляет 1-миллионную длины земной окружности. Человек ощущает себя частью общего. Поэтому пропорции Пантеона кажутся нам красивыми. Понятие, чувство красоты — неизъяснимое выражение связи с сущью. Конечно, зодчий Пантеона не бегал по земле, укладывая миллион раз размеры купола, но он случайно коснулся некоего мирового закона.

Земля тянется к небу. Но небо тянется к Земле. Так задумал человек. Поэтому пропор-

---

ции нашего тела и растут в золотом сечении по направлению к земле. Земля — наша бесконечность. Человек осознает себя частью общего, вечного.

Второй магической точкой нашей архитектуры был другой Иван — Иван Леонидов, зодчий современных решений. В отличие от Мельникова или Бархина ему ничего из своих проектов не удалось осуществить, но его идеи двигали и одухотворяли архитектурный процесс. Он был как бы зодчим для зодчих, Хлебниковым архитектуры.

Жил он высоко, в знаменитом конструктивистском доме по проекту Гинзбурга, «Доме-корабле», где впервые были разработаны двухэтажные квартиры. Мне довелось консультировать у него свой дипломный проект. Проект моей строительной выставки представлял собой конструктивную спираль и зал с вантовым перекрытием, что не вязалось с ампирическим и неоренессансным стилем тех лет. Чтобы быть эстетически свободнее, я перешел для диплома с жилищно-общественного факультета на промышленный, к Мовчану. Нас было таких трое на курсе — Дима Айрапетов и Стасик Белов искали новых решений. Белов и привел меня к Леонидову.

Мастер был негромоздок ростом, но суров. Быт квартиры выдавал тяготы существования — он перебивался заработками, оформляя выставки.

Хмуρο помолчал, он предложил невообразимое по тем временам решение выставки. Он нарисовал некое подобие ящерицы или питона с заглотанными кроликом и козленком, где на километровом пространстве объемы павильонов свободно переливались один в другой. Все было перекрыто одной эластичной пленкой. Пространство ползло отдуваясь, то надувая, то стягивая живот. Это была архитектура «без архитектуры», без архитектурщины, пежесткое, свободное решение, аматериальная материя.

---

Он был поэтом архитектуры.

Сейчас проявляется интересное течение в нашей молодой архитектуре — я бы назвал его поэтической архитектурой. Это поиски, на первый взгляд не имеющие практического смысла, но без них творчество не движется вперед. Например, безвременно ушедший молодой архитектор Петренко мечтал перекрыть площадь, как крышей, прозрачным плавательным бассейном, чтобы зеленые тени воды и цветные блики купальщиков, увеличенные прожекторами, фантастическими тенями озаряли асфальт, толпу и бегущие автомобили.

«Советская архитектура» объявила конкурс на проекты фантазии, возвращая к традициям Пиранези и нашего Чернихова.

Подобные поиски всегда были и у поэтов. Поэзия со своей стороны искала родства с пластическими искусствами.

Архитектура становится частью поэзии, поэзия — составной частью мировой структуры. В архистихах слово — картинно и объемно.

Академик Лихачев указывает, что в древних рукописях Слово и Буква были картиной. Такими же элементами орнамента и цветастых сценок были надписи на лубках. Напечатанная двухцветно «Арифметика» Магницкого, по которой учился Ломоносов, являла интересные наборные комбинации, например, случай «галерного деления», где красная сфера разрезалась черной галерой.

Древние обрядовые песнопения на Руси писались в виде акростиха и назывались краегласием. Таким образом, рисунок приобретал звуковое выражение.

Пушкин пришел в восторг от стихов Нодье, описывающих лестницу и расположенных, как лестница. А Ван-Гог, подписывая зеленые холсты кармином, вводил буквы в живопись наравне с фигурами и предметами. Лесенка Малларме и Маяковского (тот не зря был блестящим рисовальщиком), Хлебникова,



---

шалости Аполлинера, Мартынов с его стихами, расположенными как кристаллы самородков, вдохнули жизнь в изобразительность стиха.

Поэт мыслит образами. И, не оформляясь еще в слова, в сознании возникают образы стиха. В. Шкловский рассказывал: «Блок признавался, что, перед тем как написать стихи, ему видятся звуковые пятна». Так, например, целый цикл стихов он собирался написать из странного звукового пятна «разверзающий звездную мечь». Стихотворение, как шатер, раскидывалось на нескольких точках опоры.

Кино и ТВ увеличивают поток информации, зрительного познания. Сейчас человек познает, получает информацию, упакованную в картины, в зрительные образы, не меньше, чем через буквы. Картина становится словом, сообщением.

Для восточной поэзии — скажем, для японской — очень важно, как расположены стихи, даже какой тушью начертаны. Не случайно поэтому частая неудача перевода на русский японских танок — начертание, картинность стиха исчезают.

После революции план монументальной пропаганды подразумевал соединение архитектуры и слова, улицы становились строчками.

Я давно пробовал соединить слово и изображение. В этом разделе я помещаю некоторые опыты. Мне эти опыты помогают в работе.

Но дело в том, что именно в этом виде в моем сознании зарождаются гены стиха. Потом

Ч а й к л а в к и Б о г а  
п л а в к и Б о г а







тьмы. Из слова «тьма», многократно повторенного, рождалась жизнь — «мать» и опять уходило во тьму небытия.

Привожу здесь черно-белый вариант. Несколько листов из серии «Автолитографии» выполнены совместно с художником Р. Раушенбергом.

Т Е С Н О                    W H E N  
 Т Е С Н О                    M H E

В другом стихотворении русские слова зеркально отражаются в английских, символизируя взаимопонимание людей.

После того как ступня человека коснулась Луны, Луна исчезла как миф, сентиментальная легенда, ирреальность. «А луна канула» читается слева направо и обратно. Читатель как бы следит взглядом за полетом на луну и обратно.

А Л У Н А К А Н У Л А

Некоторые стихи этого плана были опубликованы в юмористических отделах различных изданий. Не думаю, что поэзия обязательно «должна быть глуповатой», но почему бы не быть ей иногда и легкомысленной?

# Я пел хоралы и хиты

---



Ну, что ты стесняешься  
пошлого танго,  
как лабух стесняется  
божьего дара,  
его заглушив ресторанными тактами —  
та-ра́-ра...

Ты сам написал его  
в пору безденежья,  
но в нищую ноту  
прорвалась народная...  
Ты выразил в ней  
современную женщину  
с дурным огоньком  
старомодной смородины.

1977

## РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «ЮНОНА» И «АВОСЬ»

Белый шиповник, дикий шиповник  
краше садовых роз.  
Белую ветку юный любовник  
графской жене принес.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,  
он ей, смеясь, отдал.  
Ветка упала на подоконник.  
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,  
разум отнять готов.  
Только известно — графский садовник  
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?  
Выстрел раздался вдруг.  
Красный от крови — красный шиповник  
выпал из мертвых рук.

Их схоронили в разных могилах,  
там, где садовый вал.  
Как тебя звали, юноша милый?  
Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,  
будет наказан тот.  
Белый шиповник, дикий шиповник,  
в память любви цветет.

## ПЕСНЯ

Милый моряк, мой супруг незаконный!  
Я умоляю тебя и клянусь —  
сколько угодно целуй незнакомок.  
Всех полюби. Но не надо одну.

Это несется в моих телеграммах,  
стоном пронзит за страну страну.  
Сколько угодно гости в этих странах.  
Все полюби. Но не надо одну.

Милый моряк, нагуляешься — свистни.  
В сладком плену или идя ко дну,  
сколько угодно шути своей жизнью!  
Не погуби только нашу — одну.

1978



## МАТРОСЫ

В море соли и так до черта,  
морю не надо слез.  
Наша вера верней расчета,  
нас вывозит «Авось»!

Вместо флейты подыдем флягу,  
чтобы смелей жилось,  
под небесным андреевским флагом  
и девизом «Авось!».

Нас мало и нас все меньше,  
и парус пробит насквозь,  
но сердца забывчивых женщин  
не забудут, авось!

Буря — это всего лишь буря,  
глупо в ней ждать конца.  
Пуля — дура, конечно, дура,  
но умней мудреца.

От нагрузки на наши плечи  
гнется земная ось,  
только наш позвоночник  
крепче —  
не согнемся, авось!

---

У русалки солены губы  
и вместо ножек — хвост.  
Сэкономим на паре туфель.  
Не погибнем, авось...

Но от нашей надежды, свойской  
сетям пустых судеб,  
через век назовут авоськой  
сумку, где носят хлеб.

1977

## ПРЕДСМЕРТНАЯ ПЕСНЬ РЕЗАНОВА

Я умираю от простой хворобы  
на полдороге,  
на полдороге к истине и чуду,  
на полдороге, победив почти,  
с престолами шутил,  
а умер от простуды,  
прости,

мы рано родились,  
желая невозможного,  
но лучшие из нас  
срывались с полпути,  
мы — дети полдорог,  
нам имя — полдорожье,  
прости.

Родилось рано наше поколение —  
чужда чужбина нам и скучен дом.  
Расформированное поколение,  
мы в одиночку к истине бредем.  
Российская империя — тюрьма,  
но за границей та же кутерьма.  
Увы, свободы нет ни здесь, ни там.  
Куда же плыть? Не знаю, капитан.

Прости, никто из нас  
дороги не осилил,  
да и была ль она,  
дорога, впереди?



## КОНЧИТА

Десять лет в ожиданье прошло.  
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.  
Хорошо ли приладил седло?  
Чтоб в пути тебе было светло,  
я свечу оставляю в окне.

Двадцать лет в ожиданье прошло.  
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.  
Ты поборешь всемирное зло.  
Чтоб в бою тебе было светло,  
я свечу оставляю в окне.

Тридцать лет в ожиданье прошло.  
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.  
У меня отрастает крыло!  
Без меня чтобы было светло,  
я оставила свечку в окне.

1977

## СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

Аллилуйя возлюбленной паре!  
Мы забыли, бранясь и пируя,  
для чего мы на землю попали —  
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя их будущим детям.  
Наша жизнь пронесется аллюром.  
Мы проклятым вопросам ответим:  
аллилуйя любви, аллилуйя!

Я люблю твои руки и речи,  
с твоих ног я усталость разую.  
В море общем сливаются реки.  
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Гудзону и Волге!  
Государства любовь образует.  
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!  
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя свирепому нересту!  
Аллилуйя бобрам алеутским!  
Лишь любовью оправдана ненависть.  
Аллилуйя любви, аллилуйя!

---

Аллилуйя Кончитте с Резановым.  
Исповедуя веру иную,  
мы повторим под занавес заповедь:  
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя актерам трагедии,  
что нам жизнь подарили вторую,  
полюбивши нас через столетие,  
Аллилуйя любви, аллилуйя!

1977

## ПЕСНЯ КАБАЦКИХ РАЗБОЙНИКОВ

«У меня больная печень —  
мне опасно выпивать.  
У меня больная совесть —  
мне опасно убивать».

«У кого больная совесть,  
с тем мы будем выпивать.  
У кого больная печень,  
тех мы будем убивать».

1979



## МЕНАДЫ

«Меняю Зюзино на Пресню.  
Меняю Зыкину на Пресли.  
Меняю мужа с двумя внуками  
на бортмеханика во Внукове.  
Меняю дом, который сносят,  
на дом, чья стройка под вопросом.  
Меняю друга одной приятельницы  
на мужа одной писательницы.  
Меняю масло на чеканку.  
Меняю Сочи на Чикаго.  
По курсу — один к четырем,  
с полосой не берем.  
Отдам сарай с канализацией,  
где все течет и все меняется.  
Друг, постой за меня год за трельяжем,  
а я посижу за тебя год за кражу...  
Пока ходил менять фамилию,  
меня за Бремом обменяли.  
Не тот мой дом, не те картины,  
и в зеркале не тот мужчина.  
Ищу район (пусть без метро) —  
где нет Обменного Бюро!»

1977

## СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Котенок, кутенок, китенок,  
в отличие от ребят,  
всегда с наступленьем потемок  
шагают, плывут и летят.

Кутенок мяукает с мышью.  
Котенок по морю плывет.  
Китенок лѣтает над крышей  
с фонтанчиком, как вертолет.

Да здравствует дружба с пеленок!  
Куда запропала тетрадь?  
Котенок, кутенок, китенок,  
пора научиться писать!

1977

## ПЕСНЯ НА «БИС»

Концерт давно окончен,  
но песня бесконечна.  
Снял звукооператор уставший микрофон.  
Я вместо микрофона  
спою в бутон тюльпана  
на сцене мировой.

Я вам спою еще на «бис» —  
не песнь свою, а жизнь свою.  
Нельзя вернуть любовь и жизнь.  
Но я артист.  
Я повторю.

Спасибо за тюльпан,  
за то, что пело в нас,  
спасибо за туман  
твоих опять влюбленных серых глаз.

Я повторю судьбу на «бис».  
Нам только раз в земном краю  
дарует бог любовь и жизнь.  
Но я не бог.  
Я повторю.

## ГОЛОС

Ловите Ротару  
в эфирной трансляции,  
ловите тревогу  
в словах разудалых.  
Оставьте воров,  
милицейские рации,—  
ловите Ротару!

Я видел:  
береза заслушалась в заросли,  
надвинув грибы,  
как наушников пару,—  
как будто солистка  
на звукозаписи  
в себя удалилась...  
Ловите Ротару.

Порою  
из репертуара мажорного  
осветится профиль,  
сухой как береста,  
похожий на суриковскую Морозову,  
и я понимаю,  
как это непросто.

И волос твой долог,  
да голос недолог.  
И всех не накормишь, по стройкам летая,  
Народ голодает — на музыку голод.  
И охают бабы — какая худая,..

## ТОБОЛЬСКИЙ РОМАНС

Княгинюшка несет в ведерках воду.  
И слезы счастья льются по лицу:  
«Ребеночка по имени Свобода,  
преступная, под сердцем я несу.

Простите мне подружки над Невой,  
что валенки Сибири тяжелы,  
что нет меня меж вашею гурьбою.  
Как я любила царские балы!

Простите меня, девичьи печали...  
Но я себе вовеки не прощу,  
что нет меня сейчас в дворцовом зале,  
чтоб выцарапать очи палачу!»

1964

## РЕСТОРАН

Я пою в нашем городке  
каждый день, в праздной тесноте.  
Ты придешь, сядешь в уголке.  
Подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,  
подберу музыку к лицу,  
подберу музыку к словам,  
что тебе в жизни не скажу.

Потанцуй под музыку мою.  
Все равно, что в жизни суждено —  
под мою ты музыку танцуешь,  
все равно...

Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь.  
Я тебя взглядом провожу.  
За окном будет только дождь.  
Подберу музыку к дождю.

В ресторан ходят отдохнуть  
и когда все не по нутру.  
Подберу сходу что-нибудь,  
как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.  
Но всегда музыка одна.  
Если я в жизни упаду,  
подберет музыка меня.

1977

## РЕГТАЙМ

Барабан был плох,  
барабанщик — бог.

Полюбите пианиста!  
Хоть он с виду неказистый  
и умеет плавать, как топор.  
Не спешите разрыдаться —  
жизнь полна импровизаций.  
Гениальным может быть тапер.

Черный клавиш — белый клавиш.  
Все, что было, не поправишь.  
Он еще не Рихтер и не Лист.  
Полюбите пианиста!  
«Быстро. Быстро. Очень быстро» —  
современной музыки девиз.

Но однажды вдруг возникла  
чемпионка мотоцикла —  
забежала в зал без всяких дел.  
И сказала: «Завтра ралли.  
Догоните на рояле!»  
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,  
нажимая на педали.  
У рояля есть одно крыло.

---

Все машины поотстали.  
Стал он чемпионом ралли,  
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,  
закажите «Вальс-мефисто»  
и летайте ночи напролет.  
Не спешите изумляться,  
жизнь полна импровизаций.  
С ним в оркестре гонщица поет.

1983





Этот плоский отель  
поперек побережья и лета —  
будто чья-то невидимая рука  
задержала над магнитофоном  
кассету,  
но какой стороной —  
не решила пока.

Я не знаю, что будет с тобой и со мною,  
не знаю,  
и какую все это пойдет стороной?..  
Коридорной дорожкой  
ступня записалась босая,  
Ее утром сотрет  
старомодный прибор.

Я живу через стенку с непробудным  
спортсменом.  
Ты, как музыка,  
женщина,  
через судьбы пройдешь.  
Ты с собою увозишь  
отеля протяжную тему.  
Он,  
чем больше отходишь,  
тем больше с кассетою  
схож.

## ПОРТОВАЯ СТОЙКА

Какого дьявола ты ждешь,  
какого дьявола?  
Какая склёшенная ложь  
войдет отъявленно?  
И там у стойки для галош  
над мутной склянкою  
какому ангелу ты лжешь,  
какому ангелу?

1978

## ДОНОРЫ

Секунду от каждого,  
секунду от каждого,  
все человечество обложить —  
ну кто же откажется? —  
великий останется жить.

По часу от каждого,  
по часу от каждого,  
все человечество обложить —  
ну кто же откажется? —  
тогда все Великие  
и кто ими кажутся  
останутся жить.

По жизни от каждого,  
по жизни от каждого,  
все человечество обложить —  
тогда все живое,  
все звери, коровы и пастбища  
останутся жить.

1978

## ПЕСЕНКА КРОВЕЛЬЩИКА

Сидят цари под статуями Кришну,  
под крышею дворцовой своей.  
Но кровельщик, что покрывает крышу,  
немного выше названных царей.

Мы столько куполов позолотили,  
себя ремнями к небу приколов!  
Сияют купола над всей Россией,  
Но мы немного выше куполов.

Я человек, что презирает лифты.  
Балкон твой от луны наискосок.  
А человек, что покрывает кривду,  
он низок, даже если он высок.

Я так пою, как чувствую и вижу.  
Когда же я сорвусь, не допою,  
то станет человечество чуть ниже —  
немножечко — на голову мою.

1981

## НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Родился мальчик в самолете.  
Застыли в небе два крыла.  
Его в притихнувшем салоне  
бортпроводница приняла.

Пусть ему в метрике заполнят:  
«Место рожденья — небеса».  
Необъяснимое запомнят  
его небесные глаза.

Он будет инженер-нефтяник.  
Он будет жен земных менять —  
все что-то тянет, тянет, тянет,  
как будто наклонилась мать.

Он выбежит на крышу к небу,  
забыв успех, семью, уют,  
и наберет в ладони снегу,  
как письма из дому берут.

1976

## ЧЕЛОВЕК-МАГНИТОФОН

Каждым утром рано  
у своих ворот  
местный Челентано  
песенку поет.  
У него нет денег  
на магнитофон.  
Сам, как фонотека,  
полон песен он.  
Девушка в «бананах»  
по мостам ночным,  
как с магнитофоном,  
ходит вместе с ним.  
Он поет ей «Спейсов»  
сорок раз на дню.  
Но однажды песню  
он споет свою —  
о своей тропинке,  
где в тоске своей,  
как лесной Есенин,  
свищет соловей!

1983

## МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,  
домик имел и холсты.  
Но он актрису любил,  
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —  
продал картины и кров —  
и на все деньги купил  
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз  
из окна видишь ты.  
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен,—  
и всерьез! —  
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром ты встанешь у окна —  
может сошла ты с ума?  
Как продолжение сна,  
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —  
что за богач там чудит?  
А за окном без гроша  
бедный художник стоит.

---

Встреча была коротка.  
В ночь ее поезд увез.  
Но в ее жизни была  
песня безумная роз.

Прожил художник один.  
Много он бед перенес.  
Но в его жизни была  
целая площадь из роз...

1982





Будто дверью ошибся,  
пахнет розой и «Шипкой»,  
будто жизнью ошибся во тьме —  
будто ты получил свиданье,  
предназначенное не тебе.

Ни за что — это время  
и репей на коленке,  
вниз сбегаящей по тропе,—  
удивленное благодаренье,  
предназначенное не тебе.

Благодать без понятия  
или камня проклятье,  
промахнувшееся в слепоте?  
Задушили тебя в объятьях,  
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами,  
вся Россия за вами,  
и разбитая песнь на губе —  
заповеднейшее свиданье,  
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.  
Есть, наверное, лифты,  
чтоб не лезть на балкон по трубе.  
Прости, господи, за молитвы,  
предназначенные не тебе,

## РЕКА

(на мотив Аттилы Йожефа)

I

Сижу один на грузовом причале.  
Меня опять не балует судьба.  
Волна арбузной коркою качала,  
и проплывали редкие суда.

Как мышцы на спине молотобойца,  
вздувались волны. Разве их понять?  
То плакали, то жались к мотоботу,  
то выли песню, что певала мать.  
Они людские полоскали сны  
и грязное белье со всей страны.

Шел дождь, не проявлявший интереса,  
переставал и снова семенил.  
Я из-под ненадежного навеса,  
как из пещеры, наблюдал за ним.

Река струилась, как большой младенец,  
на теле сонной матери. Волна  
резвилась, растолкать ее надеясь.  
Но мать в свои мечты погружена.

II

Сто тысяч лет гляжу на эти воды.  
Волна с арбузной коркою. Закат.  
Мгновенье — это вечность для природы,  
сто тысяч предков сквозь меня глядят.

---

Пока они мотыжили и сеяли,  
им было не до смысла бытия.  
Отныне погруженные в материю,  
они постигли, что не вижу я.

Они во мне друг друга обнимают,  
шевелятся и не смыкают глаз.  
Я слышу голоса отца и мамы:  
«Спохватишься, когда не станет нас».

1980

# Не отрекусь!

---

ЗОДЧИЕ РЕЧИ

Медная поэма

I

Народ, зодчий речи,  
творит себе памятник,  
Без паники!

Куда нас зазвали  
волшебные шрифты  
на небо с асфальта  
ведущего лифта?

Монтажники речи,  
поэты как будто,  
качают за плечи  
великие буквы.

Меня взвейте в небо  
строительным краном —  
как буквицу,  
выпавшую из грамот!

Вы были ли буквицей,  
взвितой над улицей,  
одетою в каску  
для безопасности?

Вершина качается речевая —  
людская печальница вечевая.

---

И ветер рвет с плеч  
    мою голову в каске.  
И Вечность разит  
    коррозийною краской.

До Пушкина видно,  
    до Киева даже...  
О речь,  
    четырнадцатизэтажная!

Веревка и каска  
и ноги предтечи.  
Великая качка  
заоблачной речи!

Стою на вершине,  
случайная буква.  
Мчит реамашина  
безумною клюквой.

Простимся, Тишинка!  
Ах, буковки рынка,  
стручки —  
    как пуговицы в ширинке.

Тебя скоро сроят,  
простимся, Тишинка!  
Не быть мне пчелой  
твоих певчих тычинок.

Внизу вечереет,  
стоит за черешней,  
гудит в чебуречных  
нарсд, зодчий речи.

Народ — зодчий речи.  
Мы — только гранильщики.  
Во Времени вечном  
Речь — наша хранительница.

Мы — буквы живые  
    в отпущенном сроке,  
у высшего Пушкина  
    в сказанном слого,

---

Стоит он над нами,  
презрев безопасность,  
с цилиндром в руках,  
что служил ему каской.

Над светскою чернью,  
над сплетней усердной,  
над окололитературною  
серью!

Великие ветры  
пронзают лопатки.  
Он даже и летом  
не снимет крылатки.

И, чувствуя силу,  
что не программируется,  
шепчу я: «Спасибо,  
Речь, наша хранительница!»

II

С земли корректирует  
медную ковкость  
народ Маяковский.

И горло другого  
от выси осипло.  
Не стойте под Словом,  
чтоб вас не зашибло!

Венцом шеститонным  
Москву осенили  
народ Быченков и Супаташвили.  
Три раза,  
сердечником обмирая,  
на бледное небо  
венец примеряли.  
Великие тучи  
и мысли гнетущие  
набухли венозно  
на лбу венценосном.

---

Не медь — матерьял  
речевого состава —  
людская печаль,  
и мученья, и слава.  
Зураб Церетели  
в комбинезоне,  
как меч, целовал  
эту медь бирюзовую.  
Ты станешь с годами  
меняться, машина.  
Сперва — золотая,  
потом — малахитовая.  
Чтоб было куда,  
расседлав его в садике,  
к столбу привязать  
коня Медному Всаднику...

А вы подымались,  
где я подымался?  
Где речь — опора,  
а не туманность.  
Не надо мне крана!  
Как раньше провидцы,  
сам в небо подтягиваюсь  
рукавицами.  
По слову,  
ставшему арматурой,  
по призракам  
юности архитектурной!  
Шипела, летела  
электросварка:  
«Ты как архитектор,—  
проекта соавтор».  
И с пушкинским профилем  
спутник курчавый  
кричал мне: «Попробуй!  
Качает? Качает?»  
Живем не едиными калачами —  
качает, качает, качает!  
Отпали два панка  
с вихрами хромированными.  
Прими от нас памятник,  
Речь, наша хранительница!

---

Я лесенкой лез —  
    позвоночником Речи.  
Народ Кузьмин  
    говорил мне: «Полегче!»  
Кузьмин Михаил —  
    чародей Петербурга.  
Кузьмин Алексей —  
    пишет по небу буквы.  
Не смоее губкой,  
    не срезать резинкой  
с небес эти буквицы  
    русско-грузинские.  
Такого ни в Цюрихе,  
    ни в Семиречье —  
прокрашенный суриком  
    Памятник Речи.  
Чтоб птицы летели  
    в скворечники речи,  
сквозь тысячулетья  
    на крест в поперечнике!  
Вражда языков —  
    Вавилонская башня.  
Любовь языков  
    башню строила нашу.  
Два века  
    Георгиевскому трактату.  
А через два века  
    кто-то, когда-то,  
прочтя наши впайки,  
    шепнет над гранитами:  
«Спасибо за памятник,  
    Речь, наша хранительница!»  
Взойдет и над ним  
    голубой позолотой  
венец в виде «О»,  
    что венчает работу.  
О небо! О Вечность!  
    О трудные годы...  
Народ — зодчий речи.  
Речь — зодчий народа.



## III

---

Что думаешь, Речь,  
    нам лица не показывая,  
тяжелым венцом  
    над Москвою покачивая?  
А может быть, это  
    в руке у Вечности  
чуть-чуть покачивается  
    подсвечник?  
Другая рука  
    с непонятною силой  
луну донцем к нам,  
    как свечу, наклонила.  
Вставляйте в подсвечник  
    луну небосвода!  
НАРОД — ЗОДЧИЙ РЕЧИ  
РЕЧЬ — ЗОДЧИЙ НАРОДА

1983

## НАДПИСЬ НА МОНУМЕНТЕ БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ

Остановись сегодня, путник,  
пред деревом бессмертной речи:  
В ней обнялись Шота и Пушкин,  
Союз их вечен.

В года веселые и грустные  
нас судьбы общие взрастили,  
и золотые музы Грузии  
дружили с музами России.

1983

## СТИХИ НА ТБИЛИССКОМ МОНУМЕНТЕ

Проезжий! Видя этот узел,  
глазами в небо устремясь,  
ты мысленно увидишь Грузии  
с Россией вековую связь.  
Пуускай летят автомобили  
и прижимают тормоза,  
затем чтоб люди не забыли  
поднять глаза на небеса.  
Судьба народная и чаянья  
обнимутся в небесной сини,  
как эти кольца обручальные  
на дружбу Грузии с Россией.  
Влюбленные, гуляя мимо,  
задумайтесь о заповедном,  
душою вспомните о Нине  
и Александре Грибоедовых.  
Хочу, чтоб автомобилистам  
путеводителем служили  
по узким улочкам Тбилиси  
Есенин и Бараташвили.  
Пусть юноши иных столетий,  
как мы сейчас, придут сюда,  
серебряные кольца эти  
примерит новая судьба.  
Коснитесь меди на рассвете,  
и вам ответит гул немедленно  
московского, из той же меди  
воздвигнутого монумента.  
Венец, парящий над Москвою,  
здесь повторяется светло —  
как отражение двойное  
небесно сказанного «О».

## КЛАДБИЩЕ ГРУЗИНСКОГО ШРИФТА

(на мотив Р. Маргиани)

Много в жизни мемориалов.  
Но одна меня мучит тризна.  
Где-то в памяти затерялось  
кладбище  
грузинского шрифта.

В горьком мае сорок второго  
под огнем, отступая наскоро,  
нам вручили приказ похоронный:  
закопать  
грузинскую азбуку.

Весь состав фронтовой газеты,  
над отцовской могилой будто,  
мы, наборщики и поэты,  
хоронили  
грузинские буквы.

Сто локтей мы тебе отсчитали  
в неподатливой  
почве крымской.  
Сто столетий тебя читали —  
твои звонкие очертания...  
У, война, чтоб ты сдохла,  
грымза!

О язык мой грузинский милый,  
никогда я тебе не был пасынком.  
Как мы рыли тебе  
могилу!

---

Хоронили грузинскую азбуку!  
Как разбойник хоронит слитки  
или в землю кладут товарища,  
мы свинцовые слезы шрифта  
предавали земному кладбищу.  
Для того ли творят молитвы  
на тебе, избегая кривды,  
чтоб в могилу лег алфавитный  
стройный строй  
грузинского шрифта?  
Я из ящика шрифт изящный  
в зев могильный  
высыпал сверху  
и услышал вдруг леденящее  
надо мною подобье смеха.  
В чьих пространствах  
потом ни буду,—  
вдруг слеза полоснет как бритва,—  
мне сквозь землю проступят буквы  
погребенного мною  
шрифта.

И сейчас, как в поту холодном,  
я пишу под луной-образиной —  
как мы часто тебя хороним,  
мой любимый язык грузинский!  
Как мы часто тебя хороним,  
забывая, чураясь словно —  
возлюбленное,  
коронное,  
искреннее слово!  
В мае сорок второго года  
мы тебя схоронили в яме...  
Соловьиные твои всходы  
после нас  
прозвенят над нами.



Не понимать стихи — не грех.  
«Еще бы,— говорю,— еще бы...»  
Христос не воскресал для всех.  
Он воскресал для посвященных.

Чтоб стало достоянием всех  
гробница, опустев без тела,  
как раковина иль орех,—  
лишь посвященному гудела.

1977



В пору, когда зацветает акация —  
желтых измен семена неблагие, —  
сердце сжимается, как от локации.  
Это душевная аллергия.

В пору, когда отцветает провинция  
белой пылью под строительной гирей,  
я одобряю прораба провиденья,  
но у меня на него аллергия.

Речи ли в клубе эрзацные слушаю,  
или брожу почерневшею чащею,  
или с холма загляжусь на цветущую  
наших полей перспективу щемящую, —  
будто вдыхаю на косягоре  
чьему-то ребенку грозящее горе.

Олигофрены цветут на плантациях.  
В воздухе носятся мысли такие,  
что если бы воздухом этим питаться,  
была бы у ангелов аллергия.

В пору, когда отцветает религия,  
свадьбы летят — одуванчики Пасхи.  
Религиозная аллергия  
с платья трилистничком осыпается...

Не отцветай, моя тайная Муза!  
Так же врасплох, как и в пору Вергилия,  
ты прибегаешь, целебно-дремуча!  
Это предчувствует аллергия,

1977

## ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ

— Вот квартирка поэта. Вот перо на ампирном  
бюро...

— А что такое «перо»?

— Им водили рукою Державин, Матфей и  
Лука...

— А что такое «рука»?

— Это род рычага,  
превращающий идею в создание, высекающий  
на века:

«Человек — это смысл мироздания».

«Человек будет славен вовек».

— Как вы выразились? «Человек»?

1977



## К БАРЬЕРУ!

(на мотив Ш. Нишнианидзе)

Когда дурак кудахчет над талантом  
и торжествуют рыцари карьеры —  
во мне взывает совесть секундантом:  
к барьеру!

Фальшивые на ваших ризах перлы.  
Ложь забурела, но не околела.  
Эй, становитесь! Мой выстрел — первый!  
К барьеру!

Бездарность славословит на собрание,  
но я не отвечаю лицемеру,  
я пулю заряжаю вместо брани —  
к барьеру!

Отвратны ваши лживые молебны.  
Художники — в нас меткость глазомера —  
становимся к трибуне и к мольберту —  
к барьеру!

Строка моя, заряженная ритмом,  
не надо нам лаврового венца.  
Зато в свинцовом типографском шрифте  
мне нравится присутствие свинца...

Но как внезапно сердце заболело  
и как порой бывает не под силу —  
когда за гранью смертного барьера  
жизнь пахнет темнотой и апельсином...

## ЧАРЫ ЧАПЛИНА

Как жужжали по-над миром  
усики под котелком —  
точно шмель, неуловимый  
черным мчащимся сачком.

Эта жалящая музыка  
над облавами земель,  
нападающие усики  
беззащитностью своей!

Хохот слезы утирает.  
Убирают реквизит.  
Шмель эпохи умирает,  
кверху лапками лежит.

Воры с телом удирают.  
Вечно музыка звенит.

1978

## СКОРОСТЬ

Идем под Твоим флагом неменяемым,  
врезая в воду лезвие руля.  
Меняю лодки — флага не меняю,  
выглаженного до остря.

Мы, кажется, влетаем в поднебесье.  
Руль оторвет — опять не пропадем.  
Стоит Твой флаг — как вырезан из жести.  
Над лодкой флаг становится рулем.

1982

## ИЗ ДАВНЕГО ДНЕВНИКА

Ты сожмешься в комок неузнанно.  
Я тебе подоткну пальто.  
Чтоб от Северного до Южного  
всем твоим полюсам тепло.

Все летаем с тобой, летаем,  
пристегнувшись одним ремнем.  
Завтрак в Риге, а ужин в Таллине.  
Там вздремнем.

Но на самой заброшенной трассе  
снова примутся узнавать.  
И на их всесоюзное «здрасьте»  
крикнешь: «Здравствуйте, так вашу мать...»

Но когда ты выходишь на сцену,  
у меня замирает в ушах  
от такого высотного крена,  
аж земля из-под кресла ушла.

За кулисами будет нашествие,  
Толкотня.  
Равнодушно и сумасшедше  
в сантиметре пройдешь от меня.

Я пойму, что погодка летная,  
по едва приоткрытому рту,  
что курсируют самолеты  
на Одессу и Воркуту.

## КУЗНЕЧИК

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни,  
мой акустический кудесник,  
и в этих музыках вкуснейших  
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву,  
органы лиелупских сосен  
и счастье с женщиной несносной,  
которым только и живу.

Как сладостно, обнявшись, спать!  
А за окошком долго-долго  
в колках древесных и восторгах  
заводит музыку скрипач...

Сыграй, зеленый меломан.  
Роман наш оркестрован грустью,  
не музыкальная игрушка,  
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь,  
дрожа углами ног кудесных,  
приснится крохотный кузнечик —  
как с самолета Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...  
Ведь жизнь твоя еще короче,  
чем жизни музыкантов прочих.  
Хоть и невечные они,

1971

## ЗОЛОЧЕНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Твоя «Волга» черная гонит фары дальние  
в рощи золоченого разочарования.

Воли лазер чертовый, материнство раннее  
мчится в золоченое разочарование!

Посулили золото — дали самоварное.  
И зарей подчеркнуто разочарование,

над равниной черною и над тучей рваную  
плачет золоченое разочарование!

В роще пыль алмазная, как над водопадом.  
Просит притормаживать в пору листопада.

Не гони, шоферочка! Берегись аварии  
в это золоченое разочарование.

1977



За тобою прожженные годы,  
за тобой оскверненный словарь,  
я с тебя, как срывают погоны,  
свои четверостишья сорвал.

Я лишаю тебя гражданства,  
и, как серьги,— толкая взашей,—  
все слова, что ты мной награждалась,  
вырву с мочками из ушей!

Я сдираю с тебя песнопенья.  
Убирайся, какая пришла!  
Как пропаща ты безнадежно,  
Как по-прежнему хороша.

1977



Провожайте летние самолеты!  
Ты сожмешься на моем плече,  
обхватив ромашки, как свободу.  
Твои ноздри в золотой пыльце.

Что уж, плачь! Открылся страшный клапан,  
ты прости мне теплую, прости  
что-то ожидающую каплю  
с золотыми точками пыльцы.

Что хотела, капля, ожидая,  
с золоченым бусинка бочком?  
Покатилась капля золотая.  
Не простила. Улыбнулась. «Ждем!»

Встречайте летние самолеты!  
Ты прижмешься к черствому лицу.  
На его щеку перенесешь ты  
лживую летучую пыльцу.

1972





Распрямились года, как вода.  
От жемчужного сна озорного  
не осталось в душе и следа.  
Но осталась заноза.

Нож возьму, не ропща, не мудря.  
Соперировать — экая малость!  
Чисто вырезал — до нутра.  
Аж наружу зияет дыра.  
Но заноза осталась,

1974

## КРЕДО

Иду на Человек с головою песьей,  
иду на Зверь с человечесьей спесью,  
иду на Вор с соловьиной песнью.

«Иду на Вы» — этот клик опробовали  
все от Святослава до Роберта.  
Иные битвы — иные опыты.

Но я иду, темнотою изрезан,  
чтобы услышать из темноты  
пропащий отзыв из чащи леса:  
«Иду на Ты!»

Мы все родились искать ответа,  
«на ты» нам — чаща, «на ты» — цветы,  
«Иду на Вы» — это щит поэта,  
а смысл поэта — идти «на ты»!

Иду на Ты, человеке дивный,  
в снегу целую твои следы.  
Неразумеющие, идите вы...  
Иду на Ты!

1978



На соловья не шлют доносов скворки,  
у них не яд, а песня на устах.  
Мне жаль тебя, завистник-стихотворец,  
слабак в стихах, ты злобствуешь в статьях.

1979



Прославленная тень!  
О чем кричит надсадно  
пластинка — как мишень,  
пробитая в «десятку»?

1978

## ИЗ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Если были б чемпионаты,  
кто в веках по убийствам первый,—  
ты бы выиграл, Век Двадцатый.  
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если были б чемпионаты,  
кто по лжи и подлостям первый,—  
ты бы выиграл, Век Двадцатый.  
Усмехается Двадцать Первый.

Если были б чемпионаты,  
кто по подвигам первый,—  
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..  
Безмолвствует Двадцать Первый.

1980

## ВЕЧЕР В ЮНЕСКО

ЮНЕСКО сверху в тумане брезжущем —  
как электробритва о трех ножах.  
Тобой Париж ежедневно бреется,  
чтоб бабу муровскую ублажать.

Но есть, как понял еще Гамзатов,  
олимпиада лжи и распада.  
Мы все Пилаты олимпиады.  
Мы промолчали — мы виноваты.

Бежит вражды олимпийский факел.  
Народ народу готовит пакость.  
И Аллен Гинсберг поет свой «фак ов»,  
но скоро некого будет факать.

Поэты — нация с вольным статусом.  
А вдруг и правда поможет он,  
ЮНЕСКО, белой надежды парус,  
ветрами вогнутый с трех сторон?



Нас посещает в срок —  
уже не отшучусь —  
не графоманство строк,  
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,  
а совесть весела.  
Ищет какой-то слив  
седьмого киселя.

Царит в душе твоей  
любая дребедень —  
спешит канкан любвей,  
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть  
ведет болтанкой курс.  
Не дай вам бог подпасть  
под графоманство чувств.

1977

---

Е.В.Ж.

Стоило гроши и вдруг алтын.  
Ложная растет дороговизна.  
Ценность измеряется одним —  
единицей вложенности жизни!

Йог ладонью режет без ножа.  
Схимник четверть жизни в бомбу вкопит.  
Сядет обнаженный на ежа —  
10 лет вложил он в этот опыт.

Сколько лет темницы в мятеже?  
Сколько лет страданья на страницу?  
Все определимо е.в.ж.—  
непоколебимой единицей.

Ею даже возраст отдадим.  
Глянь на моложавую кобылку —  
в нее жизнь вложили сто мужчин,  
будто в коллективную копилку.

Мера неизменная — талант,  
он дается щедрым и беспечным,  
что однажды жажду утолят  
самым золотым обеспечением!

Не таи талантов, человек.  
Путь фальшив, но не фальшива гибель.  
Весь себя вложи в единый чек!  
Только в ту ли кассу чек ты выбил?

1977

## БЕАТРИЧЕ

Одергивая юбку на ногах,  
ты где-то бродишь в разных городах,  
на цыпочках по сцене мировой,  
мой дух, как гусь, бежит вслед за тобой.

1979

## ТЫ ЧУДО ВСЯ — ДАЖЕ ПУСТЯК ТАКОЙ!

Возьми на палец божию коровку.  
Она щекочет палец золотой —  
по дактилоскопическим бороздкам  
головка с музыкальной иглой!  
На всем печать мелодии короткой...  
И небо ожидает над тобой.

1979





Когда устали в небесах скитаться  
и ноги от полета затекли,  
нас принял, согласившийся по рации,  
аэродром негданной земли.

И, приближаясь к нам из благодати,  
указывая круг, где надо сесть,  
сигнальщик, как ожившее распятие,  
махал руками и не мог взлететь.

1972

## КОМПЛЕКС

Боксер пыхтит в полотенцах,  
хоть с детства был трусоват.  
Комплекс неполноценности,  
хватит комплексовать!

Экс-чемпион по серости  
штурмует Гослитиздат —  
комплекс неполноценности,  
хватит комплексовать!

А в русских озерах ноет  
печаль такой синевы,  
как будто они виновники  
сыновней людской вины.

Когда вымирают пущи  
и реки дотла горят,  
кто виноватый? Пушкин!  
Поэт всегда виноват.

Природа не виновата,  
что сын у нее debil.  
Поэт виноват набатно,  
что совесть не пробудил.

---

Когда у Черного моря  
на дне асфальт нефтяной,  
то этому черному горю  
только поэт виной.

Он не созвал на вече,  
не крикнул, как в газават:  
«Комплекс бесчеловечности,  
хватит комплексовать!»

1977



Заслышу ль рифму в перелеске —  
задумываюсь о тебе.  
Мои рифленные рефлексy  
остались на твоей тропе.  
Я покидал тебя банально,  
как и достоин сильный пол —  
«взяв только плащ и гениальность»,  
ушел.  
Но к давнему и дорогому  
оставив тайные ключи,  
когда тебя не будет дома,  
один наведуясь в ночи.

1982



Проглядев Есенина, упустивши Пушкина,  
думаю, что люди создать должны  
«Общество охраны памятников будущего»  
параллельно с Обществом старины.

1980

#### СТАДИОН

Дух и тело — чужаки?  
Либо — либо?  
Уважаю Лужники —  
смесь Олимпий и Олимпа.

1976

## ТРАССА СМЕРТИ

(на мотив Л. Левчева)

Я купил «мерседес», я, по-вашему, турок,  
экономивший в Руре на жратве и сортирах.  
Я к себе возвращаюсь через ваши культуры —  
византийский окурочек, лечу в Византию!

Трассой смерти зовется такая дорога.  
(ФРГ — мимо Софии — в Айя-Софию.)  
Словно совесть, зовут указатели «к Богу!».  
Позабыв Византию, летим в Византию.

Люди выбросят палец, прося подвезти их,  
императорским жестом: «Умри, гладиатор».  
Слово «бог» опустело, как улья пустые.  
Я святою водою залил радиатор.  
Потеряв Византию, летим в Византию.

Возвращаемся к женщине. Но жилье опустело.  
Ах, как мне она пела на море чернейшем!  
А наклонит лицо — в золотом ее теле  
отразятся зрачки, как четыре черешни.

Возврати меня в веру, как зов атавизма,  
Византия, верни мне транзитную визу!  
Врежусь в встречные фары твои золотые...  
Византии не будет. Летим в Византию.



Мужчины с черными раскрытыми зонтами,  
с сухими мыслями и мокрыми жадами,  
куда несетесь вы бессмысленною ночью  
на черных парусах, пираты-одиночки?

Удача ваша, что вам молодость сулила,  
прошла, горизонтальная, над вами —  
как велосипед сюрреалиста —  
вращаясь спицами под вашими зонтами.

1976

---

«КОШКИН ЛАЗ» — ЦЕЗАРЬ-ПАЛАС

Зеркало над казино — как наблюдающий  
разум,  
купольное Оно.  
Ход в Зазеркалье ведет, называемый  
«кошкиным лазом».  
«Людям воспрещено!»

По Зазеркалью иду (Пыль. Сторожа  
с автоматами.) —  
как по прозрачному льду... Снизу играет толпа.  
Вижу затылки людей, словно булыжники  
матовые.  
Сверху лица не видать — разве кто навзничь  
упал.

По Зазеркалью ведет Вергилий второй  
эмиграции.  
Вижу родных под собой, сестру при  
настольном огне.  
Вижу себя под собой, на повышенье  
играющего.  
Сколько им ни кричу — лиц не подымут  
ко мне.

Вижу другую толпу, — уже не под  
автоматами, —  
мартовский взор опустив, вижу другое  
крыльцо,



---

где над понурой толпой ясно лежала  
Ахматова,  
небу открывши лицо.

О, подымите лицо, только при жизни,  
раз в век хоть,  
небу откройте лицо для голубого неба!  
Это я знаю одно. И позабудьте Лас-Вегас.  
Нам в Зазеркалье нельзя,

1977

## РИФМО-ГЕКСАМЕТРЫ

1

«Жемчуг в разлуке умрет — его умертвляет  
шкатулка».

(Из Катулла)

«Гений — наоборот! — в тюрьме огражден от  
халтуры».

(Цезарь — Катуллу)

«Цезарь в Катулле живет».

(Геродот)

2

Восстанови Карфаген.  
Не полемизируй с орущим.  
Пусть он еще не разрушен,  
молча зажги автоген.  
Восстанови Карфаген.

3

Не оскверняйте святынь,  
тех, что не в прошлом, а ныне.  
Хрупки живые святыни,  
гипс в них еще не застыл.

---

Вам не убить Паганини!  
Ждут поколения иные —  
не оскверняйте святынь,

4

## «МУЗЫКИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!»

Ногу обнял футболист,  
как напряженную цитру,  
мышца гуляет по ней,  
словно по цитре ладонь.  
В теле, пока молодом,  
музыка ненасытна.  
Музыкой сердце болит,

5

Третьего не дано.  
Или ты — черевичный сапожник,  
или ты — чечевичный художник,  
гений или дерьмо,

6

Не унижайтесь до слов  
против брани недопустимой.  
Вдруг набегут филистимляне?  
Не обижайте ослов,

1977

## ПОМИНКИ С СЕНАТОРОМ

Сенатор Хьюберт Хэмфри был известен в Америке под инициалами ХХ. Друзья, зная о его смертельной болезни, устроили званый ужин — прощание с ним.

Отпевали сенатора ХХ,  
отпевали еще живого.  
Тыща долларов за тарелку.  
И виновнику дали слово.

Ухватясь за свои тарелки,  
мы слетались на отпеванье,  
постарев, опустив гляделки —  
ненасытные упованья!

Он замученно улыбался,  
тезка хохмы и тезка века,  
как подтаявший ком лобастого  
и готового рухнуть снега.

Была слава ему догробна,  
вез его самолет престижно,  
но худел на глазах сугробик,  
называемый просто жизнью.

Я подумал о жизни этой,  
что не знает границ и платьев.  
Шел другой сенатор, отпетый,  
заслоненный от пули братьями.

До свидания, век ХХ,  
до свиданья, сугробик вешний,  
до свиданья, разбег досадный,  
двухкрестовый аллюр обещанный.  
Отпевает нас Фрэнк Синатра.

## ИЗ ДНЕВНИКА ГРАФА РЕЗАНОВА

Ах, московская американочка...  
Обернулся Арбатом Бродвей.  
На меня опускается парочка  
из Москвы упорхнувших бровей.

Разве мыслимо было подумать,  
что в Нью-Йорке, как некогда встарь,  
разметавшись, уснем на подушке,  
словно русско-английский словарь?

Мировые границы отринем.  
Будут стулья в шикарном тряпье.  
Засыпая, ты скажешь мне: «Дриминг...»  
«Дрема, дрема»,— отвечу тебе.

1976

## ПИАНИСТКА

Итальянка с миною «Подумаешь!»,  
черт нас познакомил или бог?  
Шрамики у пальцев на подушечках  
скользкие, как шелковый шнурок...

Детство, обмороженное в Альпах,  
снегопад, глобальный снегопад...  
Той войной надрезанные пальцы  
на всемирных клавишах кричат!

Осязаньем, знают, осязаньем  
в час самоотдачи и любви  
через все поп-арты и дизайны  
эти сумасшедшие твои!

Вот зачем, измучивши машину,  
ты снисходишь до «ста тридцати».  
А когда прощаешься с женщиной,  
за спину ладони заведи.

Сквозь его подмышки — горько, робко,  
белые, как крылья ангелят,  
за спиной огромною Европы  
раненые пальчики горят.

1969



Как белоснежно, как бездонно  
благословила нас в порту  
двутрубно-белая мадонна  
с младенцем-шлюпкой на борту.

Она, склонясь у изголовья,  
следила спящие тела,  
когда ж, шатаемы любовью,  
мы вышли кофе пить на взморье,  
она, спокойная, ушла  
не шибко, в 32 узла.

1974



Озеро отдыха возле Орехова.  
Гордо уставлена водная гладь  
в гипсовых бюстах — кто только приехал,  
в бронзовых бюстах — кому уезжать,

1976



Выгнувши шею назад осторожно,  
сразу готовая наутек,  
утка блеснула на лунной дорожке —  
с черною ручкою утюжок.

1975



## НАД ОМУТОМ

Девочка с удочкой, бабушка с удочкой  
каждое утро возле запруд —  
женщина в прошлом и женщина в будущем —  
воду запретную стергут.

Как полыхают над полем картофельным  
две пробегающих женских зари!  
Как повторяется девичьим профилем  
профиль бабушкин изнутри!

Гнутые удочки, лески капронные  
в золоте омота отражены,  
словно прозрачные дольки лимонные.  
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?  
Юбки упруги. В ведрах лещи.  
«Бабушка, правда, есть рыба бельдюга?»  
«Дура, тащи!»

Как хороша эта страсть удивившая!  
Донная рыба рванет под водой.  
И, содрогнув, пробежит по удилищу  
рыболовецкий трепет мужской.



Все конкретней и необычайней  
недоступный смысл миропорядка,  
что ребенка приобщает к тайне,  
взрослого — к отсутствию разгадки.

1975

НЕКРОЛОГ

Покойник был не кролик,  
Ему бы чуточку пожить —  
некому было б хоронить.

1980



Малина и крапива.  
Зеленое и розовое,  
дурнушка и красивая!  
Подружки инородные.  
А позади береза  
закинута пугливо,  
дрожа от ягод розовых —  
как ноги от крапивы.

1977

## ЕЛКА

Елка упала всеми подолами  
в радуге лампочек в доме чужом.  
Елка хмельная уставилась с полу,  
ноги закинув тесовым крестом.

Утром срубил я тебя, браконьерствуя,  
в гулком лесу.  
Крякнул короткий топорик армейский,  
В дверцы втокнули тебя на весу.

Что ты наделало, пьяное дерево!  
Свет пережгла, не смущаясь ничуть.  
«Если хотите, чтоб все — как до этого,  
можете дом свой перевернуть».

Что ты наделало, глупое дерево!  
Можно ли выдержать в сердце лесном,  
что и людскому уму не доверено —  
темные смены пьяных времен?

1977



Взад-вперед походкой челночной,  
перед тем как уйду во тьму,  
оставляю берег простроченный  
и лоскут заката к нему,

1977



Медновзметенная гора,  
которой ужаснулся Пушкин,—  
танковый памятник Петра  
грозит опущенною пушкой.

1976



В доме негусто, но пиршество взору.  
В рамах шикарная нищета:  
свищут скворцы на верхушке березы,  
как бубенцы на макушке шута.

1976



Божественно после парилки  
в реликтовом озере Рильке!..

1976

## ДЕРЕВЯННАЯ ЗВОННИЦА

О чем говорит мне колхозный отрок,  
облокотясь на велосипед, как на перила,—  
в вечернем поле, в северном округе,  
свою синеву в небеса вперивши?

«Когда я гляжу на силуэт часовни —  
в небе три столба с перекладиной,—  
вижу: три битла несут четвертого,  
убитого влюбленной гадиной...»

Солнце спускается за четвертым,  
фигуры окутывая червонным...  
Он говорит: не «четвертого», а «товарища».  
И, не досказав, отворачивается.

1981

## НОВАЯ ПРИРОДА

Красные коровы  
лежат на асфальте,  
млеют на асфальтовой сковородке.  
Мы их объезжаем —  
коровы святы!  
Стали патриотками шоссе  
коровы.

«Доложите истину, долгожитель в сванке,  
почему коровий народ сдурел?»  
«Потому что мухи не любят асфальта»,  
Мудрые коровы НТР!

Поняли, хитрюги! Рогатые гении!  
Мухам незадачливым не в пример.  
«Просто мухи знают —  
асфальт канцерогенный»,  
Мудрые мухи НТР!

1979



## НОВОСЕЛЬЕ

Человек несет по свету стол  
на спине, как нужно со столами,  
будто мебель в небе расставляет.  
А когда он выпить отошел,  
стол висеть в пространстве оставался.

Ангелы сидели за столом,  
завтракали, вниз челом висели.  
К ночи он вернулся, утомлен.  
Присоединился к новоселью.

У столов, небесных и волшебных,  
званные сидят с шести сторон,

1977

## ВЕРБА

Прорвавшись сквозь рынки,— весенняя,  
звонит деревенская интервенция! вербная,—

В квартире царит незаконная ветка —  
с победой, зеленая интервентка!

И пахнет грозой огуречная кожица,  
очищена — тоненькая, как трешница.

И заново верится, и взвинчены женщины,  
в умах — интервенция деревенщиков...

Да это же вербное воскресение!  
Обещано счастье в конце третьей серии,

и нас не смущает, что фильм двухсерийный...  
Ну, нет — так накупим ташкентской сирени.

1978

## МАРТ

К. Афанасьевой

По Суздалю, по Суздалю  
сосулек, смальт.  
Авоською с посудю  
несется март!

И колокол над рынком  
болтается серьгой.  
Колхозницы — как кринки  
в машине грузовой!

Я в городе бидонном,  
гудящем, молодом.  
«Америку догоним  
по мясу с молоком!»

Я счастлив, что я русский,  
так вижу, так живу.  
Я воздух, как краюшку  
морозную, жую.

Весна рыжеет кручей.  
Весна берет рубеж.  
Весна играет крупом  
и ржет, как жеребец!

А ржет она над критикой  
из толстого журнала,  
что видит во мне «скрытое  
посконное начало»...

1957

## КОЛЕСО СМЕХА

Летят носы клубникой, подолаы и трико.  
А в центре столб клубится —  
ого-го!

Смеху сколько —  
скользко!

Девчонки и мальчишки  
слетают в снег, визжа,  
как с колеса точильщика  
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит  
министров и портных,  
им задницы занозит  
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии  
святая простота,  
но мчит меня по лезвию  
куда-то не туда.

Слетаю метеором под хохот и галдеж...  
Умора!  
Ой, умрешь.

1958

## ИЗ СИБИРСКОГО БЛОКНОТА

Здесь гостям наливают  
так, что вышибут дух.  
Здесь уж если рожают,  
обязательно двух!  
Если сучья — так бивни,  
а уж если река,  
блещут, будто турбины,  
белых рыбин бока.  
Как пружина раскрученный,  
бьет сазан из сачка.  
Солнце брызжет из тучи,  
как с тугого

соска!

Ты куда, попрыгунья  
с молотком на боку?  
Ты работала в ГУМе,  
ты махнула в тайгу.  
Точно шарик пинг-понга,  
ты стучишь о мостки,  
аж гудят перепонки  
тугоухой тайги!  
Ты о елочки колешься.  
Там, где лес колдовал,  
забиваешь ты колышки:  
«Домна». «Цех». «Котлован».  
Как в шекспировских актах —  
«Лес». «Развалины». «Ров».  
Героини в палатках.  
Перекройка миров.

## ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «БОЙ!»

Ехали казаки.  
Зубы казали.  
На красных пополах  
лежали поповны.

Соболь — Сибирь?  
Сабля — Сибирь?  
Староверы — Сибирь?  
Сталевары — Сибирь?

Сибирь?

Харя, точно хала,  
крута, кругла,  
кепчоночка копченая,  
как рыба камбала:  
«Гитара семиструнная ай пистолет?  
Семь бед на свете — один ответ.  
Четыре сбоку и ваших нет!»

«А Витька с Галочкой  
как винтик с гаечкой —  
полюбили намертво,  
да не сошлись диаметром».

«Бип-бип...»  
Сибирь...

## ГОСТЬ У КОСТРА

Облупленные морды.  
Костер. Ручей.  
Мы молоды и голодны,  
как сто чертей.  
И Лялька, Лялька  
в фуфаечке тугой,  
курносая как лайка,  
хлопочет над ухой.  
Хошь, не хошь,  
гож, не гож —  
гость!..  
И гость садится к чайнику,  
он хмур не по годам,  
щетина как лишайник  
сползает по щекам:  
«...мы поколение лишнее,  
мы маски без лица,  
в любви мы знаем лифчики,  
и никогда — сердца,  
стареющие женщины  
учили нас любви,  
отсюда горечь желчная  
и пустота в крови...»  
А Лялька, Лялька, Лялька,  
ой, сатана,  
ему рюкзачной лямкой  
по роже — на! на!..  
Ах, как она хлестала...  
А после, у ольхи,  
как она роняла  
слезинки в угольки...

## РАСПУТИН

(на мотив Ш. Нишнианидзе)

Для любовниц Гришенька, для народа Гришка,  
перебрал ты лишнего, скоро тебе крышка.

Жизнь свою в камине сожги как поленья,  
посади Империю к себе на колени!

На плече как сокол сидит цареныш.  
Взвил судьбу высоко, гляди — уронишь.

Берегись, Григорий, Григорий Ефимыч,  
шел ты в дом игорный, где выигрыш — финиш.

Девка подозрительная под тобой хлопочет,  
или дэвы мстительные над тобой хохочут?

Кто ты? Жизни тризна? Забава ль туристам?  
Иль тоска мужицкого авантюриста?

Что за ужас прячется под пьяной зевотой?  
Почему ты мучаешь меня сегодня?

Спит страна великая, щедрая и нищая,  
голову собора уронив на нивы.

Пробудись, любимая, смахни супостатов.  
В небесах проносится планета хвостатая.

Отражаясь в реках и в юбках с люрексом,  
мчит планета красная. Скоро революция.

1976



## СВАДЬБА

Где пьют, там и бьют —  
чашки, кружки об пол бьют.  
Горшки — в черепки,  
молодым под каблуки.  
Брызжут чашки на куски:  
чье-то счастье —  
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,  
юна, бела,  
дрожишь, как будто рюмочка  
на краешке стола.

Горько! Горько!  
Нелегкая игра.  
За что? За горку  
с набором серебра?

Где пьют, там и льют —  
слезы, слезы, слезы льют...

1956



В больничном саду воскресник.  
На липы и на дубы  
халатики, встав на лесенки,  
накладывают бинты.

Халатики отлетели!  
Но снятся дубам с тех пор  
ментоловые метели  
взволнованных медсестер.

1977



В век варварства и атома  
мы — акушеры нового,  
нам эта участь адова  
по нраву и по норву.

Мы — бабки повивальные,  
а век ревет матеро,  
как помесь павиана  
и авиамотора.

Попробуйте при родах  
подобных постоять,  
сгорать на электродах  
и в руки радий брать.

И, счастлив этой долей,  
художник в мастерской  
стоит, смертельно болен  
болезнью лучевой.

1957

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,  
осатанев,  
грехопадением  
падает снег.

Парками, скверами  
счастье взвилось.  
Мы были первыми.  
С нас началось —

рифмы, молитвы,  
свист пулевой,  
прыганья в лифты  
вниз головой!

Сани, погони,  
искры из глаз.  
Все — эпигоны,  
все после нас...

С неба тяжелого,  
сном, чудодейством,  
снегом на голову  
валится детство,

свалкою, волей,  
шапкой с ушами,  
шалостью, школой,  
непослушаньем.

---

Здесь мы встречаемся.  
Мы однолетки.  
Мы задыхаемся  
в лестничной клетке.

Автомобилями  
мчатся недели.  
К черту фамилии!  
Осточертели!

Разве Монтеки  
и Капулетти  
локоны, веки,  
лепеты эти?

1948



Вызывайте ненависть на себя почаще,  
пусть кому-то нежному достанется счастье.

Под прицелом снайпера закурите «Мальборо»  
и четверостишие напишите набело.

Вызывайте ненависть тем, что выживаете.  
Пусть прицелы пляшущие скажут — вы из ваты.

И скажите с нежностью снайперу всемирному:  
«Расстрелял всю ненависть?  
Тебе легче, милый?»

1980

## ШУТЛИВЫЕ СТРОКИ

Вместо будущего стал  
бывшим он.  
Покидает пьедестал  
б. чемпион.

Б. рекорды, б. награды  
в б. борьбе...  
Улыбается с экрана  
б. ББ.

Б. надежды, б. романы  
ранних лет...  
По журналам графоманит  
б. поэт.

Б. правдивый, б. отважный,  
мой б. друг,  
неужели дружба даже  
б. продукт?

Про меня злословишь? Ладно...  
Я ж тебе —  
(бородище и усищам) —  
пожелаю сил, таланта,  
но без «б».  
(Будь не бывшим.)

## КАЛИГУЛА

(на мотив Р. Лоуэлла)

Мой тезка, сапожок, Калигула,  
давным-давно, еще в каникулы,  
твоя судьба меня окликнула,  
и впилась в школьные миндалины  
рука с мерцающей медали,  
где бедный профиль злобно морщится,  
как донышко моих возможностей!

Великолепнейший Калигула!  
Уродец, взвитый над квадригой,  
чье зло — наивная религия.  
Мой дурачок, болезненное детство  
просвечивает сквозь злодейство.  
Как нервный узел оголимый —  
принц боли, узник, скот, Калигула.

Детсад Истории. Ты — пленник  
еще наивных преступлений,  
кумир, посадка соколиная,  
кликуша, хулиган, Калигула!

Вождь двадцатидевятилетний,  
добро и зло презрев, дилеммой  
в мозгу, не утихая, тикает  
боль тяжелейшей паутинкой.



---

Живу я ночь твою последнюю,  
к тебе в опочивальню следую.  
И пальцы узкие убийцы  
мне в шею впились, как мокрицы,  
следы их, как улики, липки...

А над тобою, как улики,  
у всех богов — твои улыбки.  
Ты им откокал черепушки  
и прилепил свой лик опухший.  
Взывая к одноликой клике,  
молись Калигуле, Калигула.

Читаю: «Тело волосато,  
затмил пирами Валтасара».  
Читаю: «Гроном рот замаран,  
и череп лыс, как бюст из мрамора».  
Ты, тонкошей, думал, шельма:  
«Всем римлянам одну бы шею».  
Мразь гениального калибра,  
молись, Калигула!

Малыш, ты помнишь, как, зареванный,  
ты в детстве спал, обняв звереныша.  
Сегодня ни одна зверюга  
с тобой не ляжет. Нету друга.

А ляжет юноша осенний,  
тобой задушенный в бассейне.  
Забрызган кровью бог Адонис —  
Нарцисс, Калигула, подонок!

И в низкий миг тебя из мрака  
пронзит прозрение зигзагом.  
Ты все познаешь. Взойдешь криком —  
бедняга, иволга, Калигула!

Лежи, сподобленный нездешнему,  
в бассейне ледяном и траурном,  
катая ядра августейшие,  
пока они не станут мраморными...

---

Молись за малыша, Калигула,  
не за империю великую,  
за мальчика молись.

Скулило  
зверье в загонах. Им спокойней.  
Они не знают беззаконий  
и муки, свойственной тиранам.  
Мы, все забрав,— себя теряем.  
Молись за наше время гиблое,  
мой тезка, гибельный Калигула.

1972

## ИНДИЙСКАЯ КОРОВА

Коровы священное имя  
господом мне дано.  
От меня и дерьмо — святыня.  
От вас и святыни — дерьмо.

1978



Смеюсь, когда Вы в угаре  
вопите из-под ворот.  
Ругайте меня, ругайте!  
Когда ругают — везет.

1983

## ХАМЕЛЕОНЬЯ ДУША

(на мотив Т. Аргези)

Твоя душа — наездник с бандерильей,  
торчащий галунами шаровар.

Ты думаешь, что скачешь на кобыле,  
но под тобой — колодезный журавль.

Твоя душа — трусливый кот домашний,  
хотя вокруг пантерою глядишь.

Ты за мышами носишься бумажными,  
чьи тени поогромней верблюдищ.

Душа твоя — бездарная пичуга,  
завидующая соловью.

В интригах и причудливых потугах  
забывшая мелодию свою.

Твоя душа — приبلудный старый заяц,  
испробовавший браги, как на грех,  
которому с похмелья показалось,  
что если пьяный он, то — человек.

Твоя душа — трактирная мадонна,  
кормящая грудями без стыда  
раскрашенную куклу из картона,  
замену подмененного Христа.

Болотная душа хамелеонства!  
В ней заблудились, выбившись из сил,  
обманутые призраки влюбленных.  
Зачем ты, вурдалак, их погубил?

31 МАРТА

Хороши, как никогда,  
мартовские хохота!  
Выходите хохотать —  
комы снежные катать.  
В лица вражеских атак  
научитесь хохотать,  
не по поводу — а так!

Завтра 1-е апреля.  
Скажут: «Хиль звончее Бреля»,  
рестораны вмиг окажутся  
все отличнейшего качества.

А сегодня — хлопья эха,  
завалило трассу смехом,  
выходите хохотать —  
в зад автобусы толкать.  
Хохот хорошо с лимоном,  
хохма — мудрость миллионов.  
Дурак может укатать,  
но не может хохотать.

Эти хохоты свободы  
завершает лепота —  
благовещенских соборов  
золотые хохота.

---

Выбегай поохотать —  
слезы мехом утирать.

Сколько лет мы не смеялись,  
сколько было бедных дней  
без смешливости сияльной,  
бриллиантовой твоей!..

1980

## СОНЕТ С УЗЛОМ

У тебя развязался шнурок,  
и, согнувшись, как прут для корзины,  
в узел пальцами рук и ног  
ты завяжешь упругую спину.

Ах, какого движенья урок!  
Ты сожмешься в сонете пружинной,  
и свободного свиста залог  
в миг, как только тебя я покину.

Что за свежесть в себе растворять  
мир движений твоих золотых,  
повторяю — какое везенье!  
Ожиданье тебя потерять.  
Изо всех состояний твоих  
обожаю движенье.

1977

## ШЕКСПИРОВСКИЙ СОНЕТ

Зову я смерть. Мне видеть нестерпим...  
Да жаль тебя покинуть, милый друг.

Перевод С. Маршака

В ночи Биг Бен — как старая копирка.  
Опять перевожу сонет Шекспира.  
«Охота сдохнуть, глядя на эпоху  
елизаветинского переполоха,  
в которой честен только выпивоха,  
когда земля растащена по крохам,  
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.  
Охота сдохнуть Лиру, скомороху,  
Лазрту, Дездемоне. Мрут, не охнув.  
А Макбет — благодетель. Вот в чем хохма.  
Победный Йорик, как успел ты сдохнуть!  
Охота сдохнуть, слыша пустобреха,  
что Рэдфорд маскируется неплохо  
в шекспировский сонет, быв графом походя.  
Мораль читают выпускницы Сохо.  
В невинность хам погрузится по локоть,  
хохочет накопительская похоть,  
от этих рыл — увидите одно хоть —  
охота сдохнуть...  
Да друга бросить среди этих тварищ —  
не по-товарищески».   
Давно бы сдох я в стиле «девалаяй»,  
но страсть к тебе с убийствами в контрасте.  
Я повторяю: «Страсти доверяй»,  
trust страсти!



---

Да здравствует от этого пропасть!  
Все за любовь отчитывать горазды,  
конечно, это пагубная страсть —  
trust страсти.  
Власть упадет. Продаст корысть ума.  
Изменят форму транспортные трассы.  
Траст страсти, ты не покидай меня —  
траст страсти!

1983

## ПОРТРЕТ

Над могилой с молодым портретом  
наклонилась женщина с пучком.  
Лапотник поправит и потреплет.  
А вспугнут — отпрыгнула бочком.

Почему она, оставив лейку,—  
будто век работала в саду,—  
прячется в соседнюю аллею  
и пережидает, что уйду?

Что-то в ней до боли незнакомое.  
Фото мною вправлено в металл.  
Перед ним поправила заколку.  
И портрет затрепетал.

И потом, закрытая спиною,  
из него, как в зеркале, легко  
примется подглядывать за мною.  
Боже! Я узнал Твое лицо.



Я обожаю воздух сосновый!  
Сентиментальности — от лукавого.  
Вдохните разлуку в себя до озноба,  
до иглоукальвания, до иглоукальвания...

Вденьте по ветке в каждую иголку,  
в каждую ветку вденьте по дереву,  
в каждое дерево родину вденьте —  
и вы поймете, почему так колко.

1979

## ЩЕНОК ПО ИМЕНИ АВОСЬ

После показа оперы «Юнона» и «Авось» в театре Эспас-Карден французские театралы назвали щенка кличкой Авось и подарили нашим актерам.

Как ты живешь, Авоська,  
без сосен без савойских?  
Московская французженка,  
мадемуазель Авось.  
Потешно вдоль Манежа  
бежит щенок надежды.  
Как кожаная кнопка,  
блестит потертый нос.

Нажмете вы на кнопку —  
и вы у Сены знобкой,  
а может, дальше — в небе,  
где Гончий Пес?..  
Когда ж вы не без фальши —  
останетесь без пальца.  
Авось, не потеряйся!  
«Авось,— зову,— Авось!»

Авось, тебя лечили  
от злостной пневмонии.  
Горел в снегах простуженный  
сухой горячий нос.

---

«Авось!» — зовут актеры,  
«Авось!» — визжат вахтеры,  
и тормозят шоферы  
автобусных колес.

В собачьих магазинах  
есть вкусные резины —  
пропитанная мясом  
искусственная кость.  
А здесь «авоськи» вешние,  
и всюду тумбы те же —  
у Лувра и Манежа —  
и можно писать вкось.

Люблю пожар Парижа!  
И в зелени, как рыжики,  
ампиры обрусевшие  
особняков в Москве!  
И модница Парижа  
мигнет, примерив пыжик.  
Авось, не зря построил  
Манеж Бове.

Авось, все образуется,  
исчезнут все абсурдности.  
Хоть палец Апокалипсис  
над кнопкою занес...  
Но все небезутешно,  
покуда вдоль Манежа,  
как кнопочка надежды,  
бежит потертый нос.



Остерегите истеричек!  
Толя народы, как слепых котят,  
со скоростью зеленых электричек  
ночные волны к берегу летят.

Пред ужасом несущегося Времени  
в купальнике, стремительном как стриж,  
как в ожиданье поезда Каренина,  
на беспощадном берегу стоишь.

1983

## ФРЕСКИ

У храма, где погода голубая,  
я деревце ореха посадил.  
«Тимотес,— повторяю я,— Убани,  
ты — самых синих фресок монастырь».

Я через год вернулся. Древо это  
растет наклонно, ствол перекося.  
Оно тянулось к фресковому свету,  
чей синий пересилил небеса.

1984

## ПРОРАБЫ ДУХА

Не гласно и не по радио,  
слышу внутренним слухом —  
объявлен набор в прорабы  
духа!  
Требуются бессребреники  
от Кушки и до Удельной!  
Мы — нация Блока, Хлебникова.  
Неужто мы оскудели?

Требуются подвижники!  
Зову вас «прорабы духа».  
Требуются сподвижники  
Морозову и Остроухову.

Подруги прорабов духа,  
молодые Афины Паллады!  
Вы выстрадали в клетухах  
потрясшие мир палаты.

Духовные подмастерья,  
вам славы не обещаю,  
вам обещаю тернии,  
но сердцем не обнищаете.

С души все спадает рабское,  
пустяковое,  
когда я вхожу в прорабскую  
Цветаева и Третьякова.



---

Пчелы национальные!  
Медици из купцов —  
москворецкие меценаты,  
точнее — творцы творцов.

Мы нация не параметров  
рапповской бормотухи —  
прорабы, прорабы, прорабы  
духа!

Голодных моих соплеменников  
Париж озирает в бинокли —  
врубил свое чудо Мельников  
космически-избяное.

Забыты сатрапы духа,  
кто помнит Победоносцева?  
Прорабы, прорабы духа —  
тоныне плодоносят.

Играет ли Рихтер баллады,  
колотит ли рыба по трапу —  
я слышу — прорабы, прорабы,  
живы прорабы!

Хватит словесных выжимок —  
время гранить базальты.  
Сколько снесли подвижнически,  
сколько мы разбазарили!

Шедеврам штопают раны,  
спасают тюленя-белуху —  
прорабы, прорабы, прорабы  
духа.

Не только дело в искусстве.  
Преодолевая выжиг,  
чтоб было мясо в Иркутске,  
требуется подвижник —

с небес золотое яблочко  
не снесет нам курочка Ряба —  
экономику неканоническую  
нащупывают прорабы.

Кто взвил к мирам аппараты,  
где может быть жизнь, по слухам?  
Ау, вземные прорабы —  
духа!

Читаю письма непраздные  
чистого поколенья —  
как в школу прорабов правды,  
синие заявления!

Требуйте, Третьяковы!  
Принадлежат истории  
не кто крушил Петергофы,  
а кто Петергофы строил.

Но сердце все поторапливает.  
Есть в каждом росток прорабства.  
Прорабы, прорабы, прорабы,  
проснуться пора бы!

Сметет карьерных арапов,  
арапов нюха.  
Требуются прорабы  
духа.

1984

## АГРОГОРОД

Город кормит деревню  
молоком и белком.  
Мчит автобус вечерний,  
как авоська, битком.

А деревня столицу  
кормит пищей умов.  
Интеллектуалистов  
просвещает Белов.

Исчезает деленье —  
кто писал, кто косил.  
Город кормит деревню,  
как родителей сын.

С трактористом с Арбата  
я сажу у костра.  
Инженеры обратно  
пополняют крестьян.

Говорю неуверенно:  
«Как, земляк»?  
«Город — корни деревни,—  
отвечает.— Верняк!»

Как тоскуют другие  
по полям и лесам,  
у него ностальгия  
по арбатским дворам.

---

Как тоскует колхозник  
по березам в Москве,  
две ампирных колонны  
ему снятся во сне.

Чую переселенье  
человечьих широт.  
Может, новый Есенин  
в этом слове взойдет?..

Прощай, города детство!  
Мы уходим под сень  
городов деревенских,  
городских деревень.

1984

## АРБАТСКИЕ РОЩИ

Где они полюбили,  
не береза бела —  
скорлупой облупились  
два ампирных ствола.

Той колонны известка,  
чувство первое то  
белоснежной березки  
забелило пальто.

Ты спиной прислонялась.  
В черном драпе была.  
На лопатках остались —  
как два белых крыла.

Где-то бродишь по свету?  
Путь твой плох и хорош.  
Только крылышки эти  
все с себя не сотрешь.

1984

1982

Как метель бы ни намела,  
на машинах, летящих мимо,  
есть счастливые номера.  
Я люблю гадать на машинах.

Что сулишь в Новый год, Москва?  
Что ты хочешь, чтобы я понял?  
19-82,  
по идее, счастливый номер.

Из суммарности этих цифр —  
справа десять и слева десять —  
проступает великий шифр:  
будьте, люди, счастливы, дескать.

Я хочу, чтобы повезло  
пешеходам московских улиц,  
ну, а если соврет число,  
чтоб на шутку хоть улыбнулись.

Чтобы правда была права.  
Чтобы дома все было в норме.  
19-82,  
по идее, счастливый номер.

Я хочу, чтобы нам с тобой  
не солгали автомобили,  
чтобы свет царил да любовь.  
Это главное — чтоб любили.

---

Чтоб любовь не была мертва,  
чтобы каждый дарил, ликуя,  
в год по 1982  
полноценных поцелуя.

Чтоб не гнула людей беда,  
чтоб ловились и сельдь и омуль,  
19-82,  
по идее, счастливый номер.

Заметает снег номера,  
суеверье XX века.  
Чтоб примета не подвела,  
очень хочется верить в это.

Чтобы крохотный шар Земли  
не сожгли глобальные взрывы.  
Чтобы люди не подвели  
эти с виду счастливые цифры.

1981

## ОТКРЫТКА

Что тебе привезти из Парижу?  
Кроме тряпок, т. д. и т. п.  
Пожелтевшую нашу афишу  
и немного тоски по тебе.

Небогатые эти подарки.  
Я в уме примеряю к тебе  
Триумфальную белую арку,  
словно платье с большим декольте.

1984



## ТРИ СИНИХ

Прощайте, три тома!  
Вы синими родились.  
Прощайте, три дома —  
Жизнь — Смерть — Высь.

Бог, видно, прошляпил —  
на вас ледерин не усек,  
одел вас в оставшийся штапель,  
ошибочной сини клочок!

Прощайте, три синих!  
Кого я на вас подпишу?  
Непереносимо,  
что кто-то идет к стеллажу.

Спустя сто лет точно  
возьмет гениальный сопляк,  
сверкнув голубою пощечиной,  
надписанный мной экземпляр...

Ты знаешь лишь черное небо,  
космические корабли.  
Возьми его в синих брикетах,  
как я его видел с Земли.

Потомок, возьми три тома  
земных надежд и потерь,  
осыпавшемуся золотому  
не верь. Только синему верь.

---

Пацан, в наших днях открытых  
найди свою мерку крыл,  
как в лермонтовской палитре  
Врубель себя открыл.

Я жил во всяких трясиных,  
но небо я синим знал.  
Прощайте, три синих!  
Кто тройкой Россию назвал?

Зачем-то ведь бог прошляпил,  
одну звезду не учел —  
одел ее в зрячий штапель,  
такой одинокий зрачок.

Вы нас обогнали, сирых,  
на телеэлементах гальюн.  
Но поют ли вам Сирин,  
Алконост, Гамаюн?

Когда ты их вынешь с полки,  
то щелка небытия  
откроется ровно на столько,  
что жизнь занимала моя.

Куда вы, томы, девались?  
Не дрейфь. Ты ищешь не тут.  
Три синие «адидаса»  
Москвой-рекою бегут.

Мужик, пробежимся с ними?  
И что означает синь?  
Я думаю — это Жизнь.

Живите, три синих!

1984



Две школы — женская, мужская...  
Две школы — проза и стихи.  
Зачем их разлучать? Не знаю.  
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулезный,  
поди попробуй разними —  
стихами были или прозой  
поэтом прожитые дни?

1981



---

Рифмы прозы



Однажды в душный предгрозовый полдень я забыл закрыть форточку и ко мне залетела черная дыра.

Помню только, как выгнулась разрываемая форточка. Моя убогая комната — самая незавидная в поселке. Ее бедный потолок раздулся, затрещал, словно в картонку от транзистора всовывали огромный трещащий арбуз.

Посредине комнаты сидела черная дыра.

Она была шарообразна, ее верх прогибал и раздвигал потолок. Побежали трещины. Штукатурка поплыла.

Почему Маяковский мог пить чай с солнцем, а я не могу пообедать с черной дырой?

Я в ужасе забился в угол. Было тягостно. Тянуло жаркой стужей. Стекла моих картин на противоположной стене вздулись, как медицинские банки на спине. Фанера шкафа выгнулась парусами.

— Я — ваша погибшая цивилизация, — сказала она.

Уже? Неужели?!

Что случилось с людьми? Что стало с матерью? Что случилось с тобой? С Наташей? Что стало с друзьями? Что случилось со мной?

Когда? Почему?

Мы переоценили или недооценили технику? Мы переоценили или недооценили свободу? Или ты сама себя уничтожила?

Врешь, дура! Посмотри, как до подоконника вымахали июньские ромашки. На экранах летает ми-

ровой мяч футбольного чемпионата — не может же мир не увидеть финала. Я добыл два билета на теплоход, и никаким козням мировой реакции и потусторонним силам не вырвать их у нашего человека!

— Я — не гибель, а возможность.

— Так какого же черта ты приперлась, чугузная уродина? Пошла на кухню жарить картошку! Зачем ты давишь на психику? — смелая от ужаса, орал я. — Ты покорила мой единственный шкаф. Мотай, откуда пришла. Луны делает бочар в Гамбурге. Дыры делает Мур под Лондоном. Отваливай!

Я протянул ей финские «Мальборо».

— Не курю, — поблагодарила она.

В двадцатые годы от начала столетия твое солнце, игнорировав тебя, зарулило к поэту. Почему именно сегодня, за двадцать лет до конца века, ты являешься сюда?

У нее не было глаз. Она была вся тоскливый комок бескрайнего взгляда.

— Мне одиноко, — сказала она.

Она осталась жить у меня.

Утверждать, что она «сказала», было бы неточно. Она не могла говорить, не имея приспособления для голоса. Она передавала мысли.

Правда, иногда она издавала какой-то странный вздох, отдаленно напоминающий наше «о», — в нем было печальное восхищение, и сожаление, и стон. Я звал ее именем О. Стоило мне мысленно произнести «о», как ты сразу появлялась.

Сейчас я думаю: что притянуло ее тогда в мою форточку? Моя тоска? От тебя целый день не было ни слуху ни духу. Или, может быть, страницы этой рукописи, лежащие на столе?

О чем писалось в тот день?

О дырах судеб? Опять об оставленной архитектуре? О пяти гениях проносащегося века? О черном кольце? Об осах и остальном?

Память, круглосуточная ополоумевшая телефонистка, подключает случайные голоса. Кружатся дырочки диска.

Я слышу голос осведомленного критика, читающего только заголовки: «Разве может буква, даже та-

кая, как «о», стать сюжетом? Автор и сам признается в том, что он — нуль. Хе-хе. Так и озаглавил свой опус — «Андрей Вознесенский — 0»...»

О взгляде Вечности, уставившемся на нас одинаково с фресок Рублева, Эль Греко и Врубеля? О жизни, которая есть и одновременно была?

О человеке-Совести из московской мастерской? О поездке на острова? Об осенних полых скульптурах?

«**О**тветьте междугородной!»

Он сидит на табуретке в своих очечках на востром носу, шевеля выгоревшими на воле пушистыми бровями, великий английский скульптор, похожий на мужичка-лесовика, мурлыча улыбочку, он сидит и мастерит своих «мурят» — нас с вами, махонькие гипсовые фигурки.

Сумерничая с Муром.

На столе перед ним проволока, гипсовая крошка, чья-то челюсть, обломок кости палеолита. Фигурки его смахивают на многочленные земляные орехи — арахисы — со сморщенной кожурой, только белого цвета, гипсовые. Некоторые из них стоят на столе, как игрушечные арахисовые солдатики. Другие валяются, как сухие известковые остовы мертвых ос.

Старый Мур — производитель дыр.

Неготовая дыра прислонена к стене.

Ему восемьдесят три. Он недавно повредил спину, ему трудно двигаться, поэтому он и формует эти мини-модели, а подручные потом увеличивают их до размеров гигантских каменных орясин. Каморка его тесная, под масштаб фигурок. У стены, как главный натурщик, белеет огромный череп мамонта с маленькими дырами глазниц и чей-то позвонок размером в умывальную раковину.

Это XX век, подводя итоги, упрямо и скрупулезно ищет свою идею, находит провалы, зачищает неровности гипса скальпелем.



Однако она оказалась довольно ручным чудовищем. Я водил ее на прогулки.

Питалась она клочками энергии, вытягивая их на расстоянии из кошек, мыслителей, автомобильных аккумуляторов и поклонниц Пугачевой. Мы шли, оставляя на мостовой почти безжизненные кошачьи тела, как выпотрошенные шкурки.

На Котельническую я больше ее не водил — она отсосала всю электроэнергию из соседнего Могаса.

Отвратный, скажу я вам, она имела характер! Она была капризна, дулась, вечно была полна какого-то отрицательного заряда. Ревнуя к людской жизни, она портила телефон, подключаясь к нему. Аппарат принимал одновременно несколько абонентов. Голоса троились. В трубку подсеялись сестры Берри, диспетчерская и какой-то Александр Сергеевич. Одновременно подключалось хрюканье, мяуканье, уханье — я понял, что она не простая штучка. Особенно она не любила разговоры об архитектуре.

От нее я узнал, что она не дыра, а еще дыреныш, отколовшаяся от массы и заплутавшаяся. Я узнал, что черные дыры — это сгустки спрессованной памяти и чувства, а не проходы в иные пространства, как о них понимали люди. Я узнал, что темнота — это не отсутствие света, а особая энергия тьмы.

Ее как-то искали. Наступило что-то вроде затмения. Стонали куры. Выли собаки. Истерикивали кошки. Вылетели все пробки. Спустившийся тоскливый мрак искал ее всюду.

Она забилась под кровать и отключила в себе напряжение, чтобы ее не нашли. Погоня пронеслась мимо. Она два дня не вылезала из убежища. Что ей у меня нравилось?

Домашние мои к ней притерпелись. Они называли ее Кус-Кус. Когда я уезжал, я запирали ее в чулан.

Однажды, заперев ее, я умотал в горы. Я шел по плато. Вдруг на доселе ровной площадке мне под ноги бросилась радостная дыра, и я кубарем провалился. Раздался восторженный испуг. Я сломал ключицу.

Она любила слизывать кисленькие электроды с батареек транзистора.

Я видел, как она разминалась на воле — она заняла весь поселок и Минское шоссе до мотеля. Во всем поселке отключился свет. Но для удобства она сжималась до размера нормального ньюфаундленда.

У нас была игра с нею. Я должен был перепрыгивать через нее. Когда я находился в воздухе, она расширялась и я вдруг оказывался над Дарьяльской пропастью, потом она мгновенно сжималась, и я опускался опять на крепкую землю.

Но больше всего она любила, когда я подбрасывал ее, как волейбольный мяч, толкал ее энергетическими полями ладоней и пальцев. Она кувыр-калась, хохотала, издавала свои вздохи, дурила, прыгала мне на голову, отскакивала от плеч — это было такое счастье, такое веселье. Потом мгновенно наступал спад, хроническая хандра. Жизнь с ней становилась невыносимой.

В маленьких распрях с нею я забывал, что она еще ребенок, и уже совершенно забывал, что она — мироздание.



Жидая на пороге Мура.

Скрипнула половица. Как ни стараюсь не дышать, век замечает меня. Востроглазое птичье личико вскидывается. Взгляд затуманен радушием и одновременно колючий. В нем чувствуется хмурая тьма и властная энергия. Вы понимаете, что он может быть деспотичным, что это именно он вырубил из скалы и поставил перед зданием ЮНЕСКО бес-смертную свою «Мать-землю». Сын шахтера, он понимает духовную тяжесть и животворную темную силу земных недр.

Взгляд цепко оценивает вас.

— А вы совсем не меняетесь! — Взгляд поворачивает вас, как натурщика на станке. Вы поеживаетесь. — Вы совсем не изменились с тех лет.

Взгляд ощупывает, пронзает вас, взгляд, как лишнюю глину, срезает, скидывает с вас два десяти-

летия — и вы вдруг ощущаете знобящую легкость в плечах, свободу от груза и полет во всем теле, и узкие брюки подхватывают в шаг, и за окном шумит май 1964 года, и вы стоите под его взглядом на лондонской сцене перед выходом, и ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу»...

«Вы совсем не изменились» — ах, старый комплиментчик, вы тоже не меняетесь, Мур, вы тоже...

Век по-домашнему обтирает руки об фартук. Он делает вид, что не понимает, зачем вы пришли.

— Дочка-то замуж вышла. Вы помните Мэри?

Мур показывает африканское фото солнечной семьи. Из памяти всплывают золотые веснушки, как звездочки меда на теплом молоке. Веснушки Мэри скрылись под загаром. Я взглянул на часы. Было 20-е число, 11-й месяц. 11 час. 59 мин.

Час прошел, век ли? Не знаю.

**О**на пропала! Получилось, что я сам выгнал ее. Тогда начинались январские грозы. Жить с нею становилось все опаснее. Друзья остерегали меня судьбой семьи Берберовых. Над нашим Переделкиным стали отклоняться от пути летящие на Внуково самолеты. Судя по ее невинному виду, я понял, что это ее проделки.

В тот день на все мои телефонные звонки отвечали Пушкин, Юлий Цезарь и чугуевская баня. Кто-то отсосал у меня две гениальные мысли. Кто-то вылизал всю темноту в кувшинах. Она радостно лыбилась, требуя поощрения.

— Займись делом! Оставь Аэрофлот в покое. Твои сверстники учатся и строят БАМ. Кто опять слизнул все кисленькие батарейки? Если тебе скучно — никто тебя не держит!

Я обидел ее.

Она взглянула злобно, растерянно и беспомощно. Она передернулась форточкой и вылетела вон.

— Нагуляешься — фортка открыта!

Я подумал, что она без пальто, но потом понял, что это для нее не имеет значения.

Она не вернулась ни завтра, ни в среду.


Ее не было под кроватью, ее не было в саду за сараем, ее не было в канаве у шоссе, ее не было на кладбищенском пригорке. За пригорком ее тоже не было.

Я складывал ладони рупором, я звал ее: «О-ооо!»

Откликалось эхо, но это было не ее «о».

Иногда мне кажется, что я вижу ее взгляд в глубине темного зала, поэтому меня тянет выступать. Однажды в самолете я почувствовал тоску под ложечкой и понял, что она где-то рядом.

Потом я забыл о ней.

—  смотрим, что ли, мои дыры?

Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и легкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обернутый от заморозков в целлофановый мешок.

Ветер, какой ветер сегодня! Он треплет его белесый хохолок, он вырывает мой скользкий шарф, и тот, как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах.

Ветер треплет прямую пегую стрижку Анн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебряными дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая, как кожа. Ветер треплет и перебирает прядки, будто кто-то ищет блох в траве.

Мур садится за руль. Меня сажают рядом — для обзора.

Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полей, среди

которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.

— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года.

Машина еле-еле слышно, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные серебряные колеи примятой травы, объезжает объемы. Как в замедленной кинохронике, открываются новые ракурсы.

— Объемы надо видеть в движении.

Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с созданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах, с одной точки обзора.

— Самая худшая площадка на воздухе, на воле лучше самого распрекрасного дворца-галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет, — говорит он о скульптуре, как говорят о яблоне или корове.

В одну из скульптур ведет овечья тропа.

Это его «Овечий свод». Две мраморные формы нежно склонились одна к другой, ласкаясь, как мать с детенышем. Под образованный ими навес, мраморный свод нежности, любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные!

Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины.

Среди лужайки полулежа хмуро замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы — Илья Муромец его владений.

Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру — он как бы изъеден короедами, поэтому скульптура вся дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев

снуют на поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серо-белые гигантские муравейники.

Они стоят по колено в траве и вечности.

Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны.

Вот наконец знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы вьются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию.

Пространства и события не только вокруг, но и внутри нас. В нас видны, плывут, просвечивают пейзажи горя, лиц, разлук и пространства иных измерений.

Это отверстия проемы между «здесь» и «там». Это мировые дыры истории. Ах, как свистали ветры в окно, прорубленное Петром в Европу!

Вот Память или, может быть, Раскаянье? — сквозь нее видны леса и история.

Объезжаем идею «Влюбленных». Это уже не скульптура, а формы жизни. Проплывают овалы плеч, бедра, шеи. Открывается разлука. Линии жизни. Пропасти. Сближения.

Ты подняла над переделкинским омутом свои округлые руки, закалывая волосы на голове, заведя их, как протягивающиеся живые кольца золотистых ножниц. В овальном пространстве, ограниченном внутренней незагорелой стороной руки, плечом, шеей, щекой, проплывают дорога и мостик. Птица пролетает.

Мы стоим по колено в траве и вечности.

Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим.

На боку лежит двуовальный силуэт из темного мрамора с дырой посередине — как положенная на ребро, окаменевшая в монумент гитара Высоцкого.

Опустив голову... Но нет, сначала о Таганке. Год, когда я первый раз посетил Мура, был годом открытия Театра на Таганке. Это было веселое, рискованное, творящее время. Театр подготовил из моих стихов одно отделение. Я читал второе. Мы провели два вечера. Так родился спектакль «Антимиры». Его сыграли восемьсот раз, еще в два раза больше было неучтенных выступлений. Театр стал родным для меня. Когда готовили второй спектакль, мы почти полгода не расставались.

Молодые талантливые глотки орали под гитару:

**Антимиры — мура!**

Самым небрежно-беспечным и замороженным от гибели казался коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником. Он сутулился, как бегун перед длинной дистанцией.

Почти вплотную придвинувшись, почти касаясь невзрослыми ресницами, ставшее за столько лет близким, его молодое, изнуренное мыслью лицо в упор глядит на меня сквозь эту страницу.

Его лоб убегает под рассыпчатую скошенную челку, в светлых глазах под усмешкой таится недосказанный вопрос, над губой прорастает русая щетинка — видно, запускал усы перед очередным фильмом, — подбородок обволакивает мягкая припухлость, на напряженной шее вздулась синяя вена — отчего всегда было так боязно за него!

Попытавшийся нарисовать его с удивлением вдруг обнаруживал в его лице античные черты — это скошенную по-бельведерски лобную кость, прямой крепкий нос, округлый подбородок, — но все это было скрыто, окутывалось живым обаянием, усмешечкой и тем неприкаянным, непереводимым, трудным светом русской звезды, который отличается от легкого света поп-звезд Запада. Это была уличная античность, ставшая говорком нашей повседневности, — он был классикой московских дворов.

**Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...**

Облазивший городские крыши, уж не угнал ли он на спор чугунную четверку с классического фронтона?

Я никогда не видел на нем пиджаков. Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстегнутые рубахи. В повседневной жизни он чаще отшучивался, как бы тая силы и голос для главного. Нас сблизили «Антимиры».

Он до стога заводил публику в монологе Ворона. Потом для него ввели кусок, в котором он проявил себя актером трагической силы. Когда обрушивался шквал овадий, он останавливал его рукой. «Провала прошу», — хрипло произносил он. Гас свет. Он вызывал на себя прожектор, вжимал его в себя, как бревно, в живот, в кишки и на срыве голоса заканчивал другими стихами: «Пошли мне, господь, второго». За ним зияла бездна. На стихи эти он написал музыку. Это стало потом его песней, которую он исполнял в своих концертах.

Для сельского сердца Есенина загадочной тьмой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосою.

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», но кони несли, как несли его кони!

В нем нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шоферу, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны.

Кто сказал, что самородки рождаются лишь у ручьев, в заповедных рощах, в муромских лесах? Что только пастушки и подпаски — народные избранники? В городах тоже народ живет. Высоцкий — самородок. Он стал сегодняшней живой легендой, сюжетом людской молвы, сказкой проходных дворов. Он умыкнул французскую русую русалку, посадив ее на желтое двойное седло своей гитары.

Смерть его вызвала море стихов, в том числе и народных. В них главное — искренность. Мне показывали несколько моих, которые я видел впервые.



Увы, должен сказать, что мне принадлежат лишь три посмертных стихотворения его памяти. Еще одно, «Реквием», тогда называвшийся «Онтимистическим», я написал при его жизни, в семидесятом году, после того как его реанимировал Л. О. Бадалян:

**О златоустом блатаре  
рыдай, Россия!  
Какое время на дворе —  
таков мессия.**

Страшно, как по-другому читается это сейчас. Ему эти стихи нравились. Он показывал их отцу. Когда русалка прилетала, он просил меня читать ей их.

Трудно писать еще о нем, такая мука слушать его пленки — так жив он во всех нас.

На десятилетия Таганки, «червонце», он спел мне в ответ со сцены:

**От наших лиц остался профиль детский,  
Но первенец был сбит, как птица, влет.  
Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андренч  
Вознесенский.**

**И пусть второго бог тебе пошлет...**

Страшно сейчас слышать его живой голос с пленки из бездн времен и судеб.

Он никогда не жаловался. В поэзии он имел сильных учителей.

Он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчеркнута незаметен в толпе. В театре он был вроде меньшого любимого брата. Он по-детски собирал зажигалки. В его коллекции лежит «Ронсон», который я ему привез из Лондона. Его все любили, что редко в актерской среде, но губительность аккомпанировала ему — не в переносном смысле, а в буквальном.

Однажды на репетиции «Гамлета» в секунду его назначенного выхода на место, где он должен был стоять, упала многотонная конструкция. Она прихлопнула гамлетовский гроб, который везли на канате. Высоцкий, к счастью, заговорился за сценой.

Он часто бывал и певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города.

Там, на Котельнической, мы встречали новый, 1965 год под его гитару.

Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользящие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал! Пахнет хвоей, разомлевшей от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих персонажей.

Гости, сметая все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.

Ностальгический Булат, основоположник струнной стихии в стихе, с будничной властностью настраивает незнакомую гитару и, глянув на Олю, поет своего «Франсуа Вийона». Разве он думал тогда, что ему придется написать «Черного московского аиста»?

Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурирует в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.

Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям «Обыкновенной истории» и «Обломова». Он — Моцарт плеяды, рожденной «Современником».

Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец быта асфальтовой Москвы.

Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только незащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания...

Бывал Шагал. Белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем. В той же манере он сделал иллюстрации к моим стихам. Вот он, потупясь, из-под деликатных кисточек

бровей косится на барственную осанку Константина Симонова и вздыхает Зое: «О! давненько я такого борца не кушал. Еще полтарелочки, а?»

Да нет же, я ошибся, это, конечно, в другой раз было, дурная черная дыра, ты подводишь меня, это было уже в Переделкине — а сейчас безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает как откашливается, будто в горле першит, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз...».

Майя Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина. Они будто репетируют перед нами «Кармен-сюиту».

И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.

Смуглый Таривердиев, не стяхнув коротко стриженный снег с головы, нервно сбрасывает перповую куртку на грудь пальто и шуб в спальне и, морщась, как от зубной боли, углубляется в ненастроенное пианино.

В открытый проем балконной двери залетают снежинки и тают, касаясь голых разогретых плеч его головокружительно красивой спутницы.

В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора.

Двор пел голосом Высоцкого.

Когда он рванул струны, дрожь пробежала. Он пел «Эх, раз, еще раз...», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:

**Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...**

Это великая песня.

Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел исступленной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, горло напряглось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перрвется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий...

Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбчивый, королевич-кудрявич, но когда начи-

нал читать, становилось понятно — этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не зарезать, а зарезаться.

Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?

В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник — все в твои вечные сорок два.

Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть подождут там, спой еще...

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

○ пустив голову, осторожно в день его рождения, 25 января, мы несем венок на могилу. Уже вторая годовщина его смерти идет.

Венок выше нас.

Когда заносили, разворачивали венок, я оказался на мгновение за венком, лицом к процессии. И вдруг на миг в овальной хвойной раме венка всплыли лица тех, кто шел за венком, тех, кто начинал с ним театр, родные любимые лица — Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня, — в эту минуту не знаменитые артисты, нет, а его семья, его театр, пришедший к усопшему брату своему, безутешные годы театра плачут по нему, плачут, плачут...

○ чем говорит мне гостеприимный скульптор? Выезжаем за ограду, горизонт образован идеальной линией зеленого холма. Чистая линия оставляет ощущение свободы, простора и ровной печали. Природа всегда совершеннее рук человеческих.

Скульптор будто понимает вас без слов.

— Тут хотели фабрику построить, весь ландшафт опаскудили бы. Вот и пришлось откупить

у них все это пространство. Я насыпал холм, найдя сегментную форму, хотелось на нее поставить скульптуру, да как ни примеряю, все не подходит.

Он лепит не только из меди и гипса — он лепит холмами и небесами.

— Узнаете? — спрашивает скульптор, объезжая две плоские формы с проемом между ними, как потемневшие оркестровые тарелки, сдвинутые за миг до удара.

...ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу». Идет мемориальный вечер памяти Элиота. Идет шестьдесят четвертый год. Все живы еще. И вы только что написали «Озу».

Вы беспечно и уверенно стоите на сцене. Но в шею дует. За вашей спиной ощущается холодок движения — на кружащейся, едва-едва кружащейся сцене плавно вращаются две огромные царственно белые тарелки, специально изготовленные для этого вечера. От их вращения шевелятся щекочущие волосы над вашей шеей, вы чувствуете холодок за спиной, по лицам зрителей плывут белые отсветы, за окном шумят шестидесятые годы.

И какое-то предчувствие спазма сводит горло.


Увы, не только овации были памятью того года.

Меня мучили страшные рвоты, они начались год назад и продолжались жестоко и неотступно. Приступы этой болезни, схожей с морской и взлетной, особенно учащались после вечеров. В воспаленном мозгу проносилось какое-то солнечное затмение с поднятыми кулаками. Врачи говорили, что это результат срыва, нервного перенапряжения, результат оранья с трибуны. Нашли даже какое-то утоньшение стенки пищевода.

Основным ощущением того времени была прохлада умывальной раковины, прикоснувшейся к горячей лбу. О, облеваннные хризантемы!..

Дамы, отойдите! Даже тебя я стесняюсь, дай, дай же скорее мокрое полотенце. Выворачивайся наружу, чем-то отравленная душа!

Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будут жалеть. Внезапно, без объяснения я уходил со сборищ, не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной — уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк.

—  чень завидую вам, — говорит скульптор. — Поэзия — высшее из искусств. Скульптура замкнута в себе. Поэзия — открытая связь людей. Я знавал Дилана Томаса, Стивена Спендера. Поэзия — самая необходимая ветвь в искусстве.

Я думаю о прошедших годах, о феномене поэзии и феномене нашей страны. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы книга хорошего поэта лежала на прилавке. Зал на серьезных поэтов полон. Глухие к поэзии обзывали это модой, бумом. Если бы это было модой, это не длилось бы четверть века. Поэзия — национальная любовь нашей страны.

Не только элитарным вечером Элиота знаменит лондонский 1964-й. Эхо московских Лужников, когда впервые в истории четырнадцать тысяч пришли слушать стихи, колыхнуло западную поэзию. Аренной битвы за поэтического слушателя стал круглый Альберт-холл — мрачное цирковое сооружение на пять тысяч мест. Это был риск для Лондона. Съехались вожди демократической волпы поэзии. Прилетел Аллен Гинсберг со своей вольницей. С нечесаной черной гривой и бородой по битническому стилю тех лет, в черной прозодежде, философ и эрудит, в грязном полосатом шарфе, он, как мохнатый черный шмель, врывается в редакции, телестудии, молодежные сборища, вызывая радостное возмущение. Уличный лексикон был эпатажем буржуа, но, что главное, это была волна протеста против войны во Вьетнаме. Он боготворил Маяковского.

● божали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали, смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не понимали, не фурыкали, не волкли, не контачили, не догоняли, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, учились, революционизировались, поняли, скандировали: «Ом, ом, оом, ооммм!..»

Овадии расшатывали Альберт-холл.

На цирковой арене, окруженной зрительскими ярусами, сидели и возлежали живописные тела поэтов. Вперемежку с ними валялись срубленные под корень цельные деревья гигантской белой сирени. Дочь Неру Индира сидела на сцене вместе с ними в изумрудном расшитом сари. Периодически то там, то здесь, как гейзер, кто-то вскакивал и произносил стихи. Все читали по книгам. На Западе поэты не знают своих стихов наизусть. Крепыш австриец Эрнст Яндл, лидер конкретной поэзии, раскрывал инстинктивную сущность женщины — фрау. «Фр... фр... — по-кошачьи фыркал он, а потом ритмически лаял: — Ау! ау!» Заводились. Аллен читал об обездоленных, называл адрес свободы. Он аккомпанировал себе на медных тарелочках. «Ом, ом!» — ревел он, уча человечности.

Что ты жаждешь, зияющая пасть аудитории? Боб Дилан говорил мне, что обожание аудитории может обернуться выстрелом. Он даже одно время боялся выступать. Это было задолго до убийства Леннона.

И за этой массовой, обрядом, хохмой, эстрадой совершалось что-то недоступное глазу, чувствовался ход некоего нового мирового процесса, который внешне не выражался в приобщении к поэзии людей, дотеле не знавших стихов.

Разве это только в Москве?

Расходились. Отшучивались. Жили. Забывали. Вкалывали. Просыпались. Тосковали. Возвращались душой. Воскресали.

○ ткалывала номера реклама.

Вот одна афиша: «В Альберт-холле участвуют все битники мира: Л. Ферлингетти... П. Неруда... А. Ахматова... А. Вознесенский...» В те дни Анна Ахматова гостила в Англии, получала оксфордскую мантию. Я не мог видеть этого церемониала, в тот же вечер у меня было выступление в Манчестере. Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России Анна Андреевна подарила ему кольцо из черного камня. Анреп носил это кольцо на груди подвешенным на цепочке — маленькое черное «о» колечка.

Во время войны Анреп утерял кольцо. Когда Ахматова приехала в Лондон, она хотела видеть его. Но Анреп заблаговременно исчез в Париж, опасаясь, что она спросит о кольце. Возвращаясь домой через Париж, Ахматова позвонила Анрепу. Они встретились. Она не спросила о кольце. Эту историю мне рассказал оксфордский мэтр сэр И. Берлин, один из самых образованных и блестящих умов Европы.

Помните «Сказку о черном кольце»?

Потеряла я кольцо...  
 Как взглянул в мое лицо,  
 Встал и вышел на крыльцо.  
 Не придут ко мне с находкой.  
 Далеко за быстрой лодкой  
 Забелели паруса.  
 Заалели небеса.

На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спрессованные временем лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль.

В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и полувозлежат нимфы. Нимфа Слова имеет стройность, челку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна.



На мозаичном полу в вестибюле расположены киоски для путеводителей; проспектов, открыток. Толпятся люди. Полируют подошвами лики великих, впрочем, не причиняя им видимого вреда.

Толпа валила в галерею. Любящие люди шли смотреть вывешенных кумиров, по пути топча их лица и имена.

**О**тветьте, пожалуйста, академик Лихачев, белый как лунь астроном истории и языка, Дмитрий Сергеевич, ответьте, пожалуйста, не встречалось ли вам в ваших пространствах непознанное пятно? Лихачев поднимает глаза: «Вы больны? Прочитайте сердцем несколько раз «Слово». Судьба русской интеллигенции проступает сквозь его лицо. Он разглаживает на столе рукопись, как кольчугу, сотканную из ржавых «о».

**О**сы, бессонные осы залетают в мое повествование, золотые тельца, крошечные веретена с нанизанными на них черными колечками.

Меня мучают осы из классических сот исчезнувшего поэта. «Вооруженный зреньем узких ос...», осы заползают в розу в кабине роллс-ройса, «...осы тяжелую розу сосут...», осы, в которых просвечивает имя поэта. Ос особенно много этой осенью. Имена проступают, порой неосознанно, сквозь произведения.

«Бор, бор» — будто другое имя слышится в строках: «Этого бора вкусный цукат, к шапок разбору...», «И целым бором ели, свесив брови, брели на полузанесенный дом...». Вы слышите? Проборматывается «бор», обрывок обмолвленного имени, мета мастера, оборванная часть его автографа, его отражение в природе — двойник духа — бор, бормотанье, бабочка-буря, бррр...

Это стиль нашего века. Рекомендовать себя векам по имени не было повадкой стихотворцев про-

шлых столетий. У Дениса Давыдова или Дельвига собственные имена звучат шутливо. Классичный мастер нашего века произносил свое имя подсознательно. Судьба прорвалась наружу, аукалась со словарем. Хотя кто знает — подсознательно ли? Ведь в слове «акмеизм» было закодировано имя Ахматовой.

С какой сердечностью, распахнутостью, незащищенностью, предчувствием скорого расставания с кратковременным «я» повторяется в стихах Есенина: Сергей, Сережа, Сергуха, Сергунь, Сергей Есенин! Как ковано звучит «Владимир» Маяковского! Цветаева зашифровала себя в море.

А что скажет нам имя «Мур»? Как оно проступает в его твореньях? Как подсознательное «л» проявляется в очертаниях его созданий? Откуда его овалыные дыры, пустоты, ставшие его матерой?

MOORE — так пишется по-английски его имл. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские муроведы наивность лингвистического метода! Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах: ах, вот куда клонит этот русский! Да, я уверен, что эти «о» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне — отсюда его отверстия, овалыные люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслит очертаниями родных букв.

○ Сведомленный критик тут прерывает мое повествование. Его глаз пролезает в скважину моей двери. Он весь по пояс протискивается, как змея, за своим сладострастным глазом.

— Ну автор, вот, хе-хе, и до двух нулей доигрался. Туалетные символы. Пушкин так бы не написал. Конечно, я читал Пушкина. Но у него это было более по-народному. Или по-французски.

Он уныривает в нору замочной скважины и затихает, уже куда-то пишет. Жаль его. В его взгляде вечная ущемленность.

**О**т нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальные буквы.

Страница газеты, как оконные стекла в оспинах первых капель дождя, напоминает мне о ней.

В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «о», как незабвенные пузырьки шампанского:

Мороз и солнце...  
Открой сомкнуты негой взоры...  
Северной Авроры...  
Вечер, ты помнишь...  
Пягну... окно...

Может, он вспомнил Михайловское два года назад, когда так хотелось шампанского и приехал Пущин, и черная бутылка дельфином скакнула в снег?

Но навеки остались пузырьки прекрасного мгновения, замерзшего в строфу тоста, — щекочущие до слез игольчатые пузырьки Клико...

Оказалось, что буква «о» — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру? Даль пишет: «О — по старинке «он», поворяется не в пример чаще всех прочих».

«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» говорят об овальном мировоззрении Гончарова, восприятию окружности бытия.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по крыше лупит благословенный рахманиновский переделкинский ливень. Потолок протекает. Мы ставим два таза — один, большой, эмалированный, посередине комнаты, другой, поменьше, жестяной, в правый угол, где у меня висят акварели.

Небесная капля, набухнув в штукатурке потолка, вздув ее, как твророг марлю, глухо шлепается кругами в таз. Тазы наполняются полнозвучным «о» — большими и малыми, пропахшими садовым духом цветенья, профильтрованными потолком июньскими небесными буквицами. Кошка пытается достать их из таза лапой.

Завтра надо с этим справиться. Чудо кончится.

Впрочем, Лазуковой, которая живет в двух шагах, не до этих красот. Она недавно схоронила мужа и живет с сыном. Я заходил к ним вчера. Посредине комнаты выстроились корыта, тазы, ведра. Сплошное пролитье потолка. Вошла соседка, тоже мученица верхнего этажа: «Год просим, все не ремонтируют, идола. Помогите нам написать куда-нибудь, лучше в «Труд». Напишу в это повествование. Может, чем поможет.

Я думаю: что притянуло небесную гостью к нашему жилью?

Дом наш на три семьи. За задней стенкой недавно умер сосед, оставив печальный вакуум небытия. Он был добрым поэтом, знал Есенина.

Затененный участок зарос елями, крапивой и угрюмством. В подслеповатых комнатках даже в жаркий полдень сыро. Но в этом хмуром клочке земли есть какая-то душевная волшебная тяга, как в затененном характере пушкинской Татьяны или безответном чувстве. Именно здесь, у подкосившегося забора, среди крапивы и бурелома, находится заповедный уголок пейзажа, который приехавший великий художник назвал самым красивым на свете и дорогим. Может быть, поэтому здесь проходит незарастающая тропа, сделавшая наш двор проходным, а может быть, оттого, что это сокращает путь в соседний магазин.

Дыры — слезы сыра.

Искусство нарезания сыра, костромского или голландского со слезой, — в тонкости и ровности ломтя. Нож должен просвечивать сквозь золотую плотность сыра. Раскройте страницу «Старосветских помещиков», пожелтевшую от времени, с золотым обрезаем, посмотрите на свет терпкую плотность его письма — и вы увидите колечки «о», как дырочки сыра, разбросанные по прозрачному листу.

Какой сыр без дыр? Какая проза без слез?

Гоголь, завершая «Мертвые души», видел прекрасное далеко России сквозь каменные ожерелья римских балюстрад.

Самое гениальное «о» мировой литературы — это колесо чичиковской брички, которым начинаются

«Мертвые души». «Докатится или не докатится до Москвы?» — обсуждают мужики. А до Петербурга? А до наших дней? А далее?

Докатилось.

— **О**, поэзия... — повторяет Мур, — она высшее из искусств. Она связывает людей, она — прямое выражение духа.

— И музыка, — вставляет Джон Робертс, с которым мы приехали.

На пьедестале лежит огромная скульптура с двумя дырами, как тяжелые каменные очки с выбитыми стеклами, словно оставленные после себя гигантом. В них, как в выбитые окна войны, свищет музыка.

Я вижу другую оправу, нервные щеки и плоский нос, как костяной нож для разрезания гениальных страниц.

Русская музыка стала главной нотой XX века — музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского.

**О**тветьте Шостаковичу. Он позвонил мне в 1975 году. Мы не были знакомы до той поры. Позвонив, он попросил приехать к нему и подумать о совместной работе. Речь шла о переводе сонетов Микеланджело, самого скульптурного из поэтов.

Я приехал в его сосенные пенаты. Когда он отвернулся к окну, я увидел измученный его профиль.

Он, видно, только что подстригся. Короткая стрижка сняла весь висок и почти весь затылок. Слегка выющаяся внизу когтистая челка держала голову, вонзалась в лоб, как темная птичья лапа — невидимая мучительная птица судьбы и вдохновения.

Он быстрым свистящим шепотом сообщил мне свою идею. Волнуясь, он мелко скреб ногтями низ щеки, будто играл на щипковом инструменте.

Той же мелкой дрожью дергался нагретый барвихинский воздух за стеклами террасы.

Та же дрожь щипковых, струнных слышится в третьей части любимой мною его Четвертой симфонии, где ничего не происходит, лишь слышится страшный тягостный холод небытия ожидания и как мороз по коже этот ледянящий шорох — шшшшшшшшшш.

Входила жена его Ирина Антоповна, похожая на строгую гимназистку. Потом он играл — клавиатура утапливалась его пятерней, как белые буквы «ш» с просвечивающимися черными бемолями, — он был паническим пианистом!

Две буквы «о» в его фамилии, как и оправа очков, лишь прикрывают его сущность. Он не был круглым. В нем была квадратура гармонии. Она не вписывалась в овальные вопросительные уши. Линия лица его уже начала оплывать, но все равно сквозь него проступали треугольники и квадраты скул, носа, щек.

Потом встречи длились и в Барвихе и в Москве, и над бытовыми беседами, чаепитиями, дачными собаками стало возникать уже то неуловимое понимание, что возникает не сразу и не всегда, но предшествует созданию.

Шостакович — самый архитектурный из композиторов. Он мыслит объемом пространства, он не прорисовывает детали. Шостакович — эстакада, достоевская скоропись духа. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был клочком трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт, — его даже воздух ранил.

На полярной станции «СП-24» над зеленой прорубью в палатке аппаратуры слушает лед бородач с гоголевской фамилией Гаврило. Он сутками, уйдя в наушники, бледный от страсти, отрешенно ловит кайф музыки льда. В наушниках музыка шорохов, касанье рыб, океана, небытия. Они шуршат, как уже знакомый нам зов «о». Он, как марафетчик, зовет меня приобщиться, познать свою страсть. «На что это похоже, Гаврило?» «Ну, немного на органные звуки или как чайки кричат». И улыбается, вспоминая. В двадцатые годы поэт написал: «По городу,

как чайки, льды раскричались таючи». Сейчас фанат музыки повторил это ощущение. Меня пронзила эта неслыханная доселе гармония шорохов, льда, небытия, напоминающая Стравинского и странные шорохи Четвертой симфонии.

Из затеи с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домой Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь секретариат и заставил меня им прочесть. Сам нервно, покошачьи чесался. Он был доволен.

Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так, что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.

Он написал мне длинное достоевское извинительное письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.

Он задумал и рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи моих стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и др. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась ипым стихиям.

Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.

Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшиеся слова: «Кончину чую».



ответьте детству!

В такую дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра!

Частенько у нас отключали свет. Керосин жалели. Население нашего деревянного дома, мы все сидели на крыльце, озаренные ровным светом ночного бесплатного неба. Сумерничали. Не выражались.

Курящие сидели на корточках, держа самокрутки двумя коричневыми от табака пальцами, большим и указательным, огоньком вниз. Когда затягивались, красным светом озарялись снизу губы, ноздри и морщины щек. Пухлые губы Мурки-соседки появлялись и исчезали из темноты, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. От нее пахло цветочным мылом. Щуплый Потапыч, только что отмотавший срок, докуривал чинарик до края, почти обжигая губы.

Говорили, что прибыл состав с ленинградцами. «Доходяги», — жалели их.

Экономные сигарки скручивались из крупно нарубленного самосада. Газеты ценились. Табак рос на огородных грядках темными лапушными листьями.

К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летней части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.

Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную бумажку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин. На бумаге было напечатано круглое солнце с лучами и какая-то надпись по-грузински.

«Дар солнечной Грузии», — сказал Потапыч. Мурка сложила бумажку, как платочек, в четыре раза и сунула в карман ватника.

— На табачок хорошо, — сказала хозяйка.

«Хорошо через папиросную бумажку на грелке дудеть», — подумал я. Я знал апельсины по первомайским демонстрациям и новогодним елкам.

Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.

Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.



Рядом остывал мотор «студебеккера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.

Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.

Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.

Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал композитор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой, страшной и великой.

Останавливались у частокола.

— Что такое передают? — спрашивали.

— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.

— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Потапыч.

● брубок рельса висел на краю деревни. К нему вела скользкая обледенелая тропа. Он висел на огромном суку березы, на таком же светло-сером небе, висел как хмурый пугачевец или Франсуа Вийон российских рельс.

В тихую ночь он обманно поблескивал, как отрезок запретного отвесного пути к Луне.


Когда не видели взрослые, мы раскачивались на нем, а в мороз мгновенно, чтобы не примерзнуть, лизали языками. Он был обжигающе кислый на вкус.

Когда горели Чуркины, нас разбудил отчаянно чистый, сполошной, испуганный, часто колотящийся звон.

Бледная до посинения Мурка в огромной колючей шинели, наброшенной на заспанное голое тело, лупила в рельс металлической плухой.

В красном мгновенном мраке застыли фигуры с топорами и ведрами, в гипсовых подштанниках на полуголых телах.

Красный отсвет, как ободок, бился на рельсе. Рельс плясал в ночном небе, выписывая гигантские безумные буквы, вопило набатной музыкой, шаталось древо из огненных пророческих букв.

—  музыка... — добавляет Джон Робертс.

Мур не любит, когда его прерывают.

— Поэзия — высшее из искусств, — завершает он дискуссию.


И ведет нас осматривать мастерские. Это свободно расположенные павильоны, просторные, белые, как глянцевые обувные коробки, в которых хранятся колодки его скульптур. Вот лежит огромная знаменитая «Лежащая». Против нее у стены, изнывая и потягиваясь, примостился огромный слоновый бивень, сантиметров тридцать в диаметре.

— Ну-ка, попробуйте поднять.

Я с трудом приподнимаю — тяжело.

— А каково такую штуку на носу носить? — смеется создатель.

Отмывать павильон ему помогает Анна, только что окончившая искусствоведческий. Она облокотилась в одной из его студий о верстак, и непроглядный рукав ее черного бархатного парижского пиджачка напудрился въевшейся гипсовой пылью. Гипсовый локоть замирает в изгибе. Осторожнее, мисс, вы становитесь скульптурой Мура!

 открытая форточка прямоугольна и пуста.

Где же ты сейчас носишься, черная дыра, перекати-поле, перекати-небо?

Видишь, я совсем не помню тебя. Очень надо! Вот уже сколько белых прямоугольных страниц я ни разу не вспомнил о тебе. Я не помню о тебе утром, не помню днем, совсем не помню вечером.

Но зато ты научила меня науке воспоминания. «Вы, люди, чтобы увидеть прошедший образ, оглядываетесь на ту же точку, где он был. Но там его уже нет. Вы так ничего не увидите. Чтобы попасть в утку, надо стрелять на три утки вперед. Прошлое летит перед вами. Глядите в сейчас — и вы увидите прошлое».

Так, глядя в сегодняшние работы Мура, я вижу просвечивающие сквозь них вчера и сегодня.

Странная вещь память! Когда Никита Михалков поставил «Пять вечеров» по Володину, оказалось, что он детально помнит быт послевоенной Москвы, несмотря на свой возраст.

Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты сталкивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мэрилин Монро!

Отчаянно ревнива ты была!

Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохли. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюхивала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. Уже давно забывшие обо мне, ничего не подозревавшие мои знакомые вдруг теряли слова на сцене, разбивались на машинах, по рассеянности подносили спички вместо газовой конфорки к бумажному халатику и горели синим пламенем.

Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. «Чаще заземляйся», — посочувствовал проносящийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: «До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять...» «...ять, ять, ять», — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла.

Но сейчас даже отверстия в скульптурах не напоминают мне о тебе.



тчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера?

Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей во языцех английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, погруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию.

Только два года назад англичане начали пить вино — бесформенную, изменчиво льющуюся субстанцию. Сейчас появились винные пабы.

Когда английским поэтам понадобился символ, эмблема, они взяли чистую форму озера, став озерной школой. Сын недр, Мур выразил замкнутую островную форму XX века.

Но не только место рождения сделало его скульптором века.

Этот дом свой, названный «Болота», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба.

Мур стал знаменитым в 1928 году, после Орлстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков «Жители бомбоубежища». Стихия народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах, со своими снами и незамысловатым скарбом.

Сын шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством.

Вот эти рисунки. Огромная дыра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло похоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры обмотаны пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепенящей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними.

Время не случайно выбрало Мура. Вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам.

— Я увидел там сотни лежащих фигур Генри Мура, разбросанных вдоль платформ, — вспоминает создатель. — Даже дыры туннеля, казалось, похожи на дыры в моих скульптурах. Я очень остро осознавал в рисунках бомбоубежищ свою связь со страданиями людей под землей, — добавляет он.

Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазаччо. Шнуробразный штрих походит на Дега. Иногда мелькают мотивы Сезанна.

Казалось, что вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ.

Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо заспанных фигур, по несколько раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конверте или тайном клочке бумаги — заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядатайством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом.

Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он не договаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра. Но молчок! Пусть думает, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так:

— Я пашел новую технику. Я использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вулворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером, тушью. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, я многое упустил бы. Война выявляет ноту гуманизма в каждом.

То же оцепененье бомбежек оркестровал Элиот в своих бетховенских «Четырех квартетах»:

**В колеблющийся час перед рассветом  
Близь окончанья бесконечной ночи  
У края нескончаемого круга,  
Когда разивший жалом черный голубь  
Исчез за горизонтом приземленья  
И мертвая листва грохочет жестью.  
И нет иного звука на асфальте  
Меж трех еще дымящихся районов...**

Эта тема связала Элиота со стихией народной судьбы, сделала его музу общечеловеческой, по сути массовой. В Лондоне идет сейчас рок-опера «Кошки» по его стихам, где судьба городских трущоб, крыш, городского нутра, нищеты города слилась с интеллектуальной нотой поэта. Вообще рок-опера и широкая музыка все чаще и чаще обращаются к серьезным текстам, к судьбам времени.

С дантовских перекрытий бомбоубежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура.

У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку шерстит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбоубежища капает — то ли это дыхание сотен людей, становящееся влагой, то ли сверху трубы протекают?

Рядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою малепькую подушку, думку, как ее в старину называли.

Я, как самый маленький, лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. В матрас защиты нехитрые драгоценности нашей семьи — серебряные ложки, бабушкины часы и три

золотых подстаканника. Во время эвакуации все это будет обменено на картошку и муку.

Вокруг, захваченная врасплох сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, подтыкает шпильками волосы стихия народного бедствия. Реют обрывки снов. Воспаленно хочется спать.

Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами.

Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового завета, страдания одеваются в богатые одежды.

Заходится, вопит младенец, напрягая старческую рожицу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Распатланная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: «Спи, мой любимый, засранец мой... Спи, жопонька моя, спи».

Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как «царевич» или «зоренька моя».

В незавязанных ботинках девчонка из соседнего дома, связанная со мной тайной общностью переглядки, пытит, тискает щенка, хотя это и запрещено. Щенок спрятан в платок, но вылезает то серой лапой, то черным носом, как серый волк из сказки о Красной Шапочке. Бабушка Разина похрапывает, привязав к ноге чемодан с висячим замком, чтобы не уперли, во сне дергает ногой. Это напрасно. Никого не обворовывали.

Местный вор Чмур, изнемогая от бездействия, томится головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. «Чмурик, ну Чмурик», — успокаивает она его душу, как уговаривают вдруг заворачившую во сне овчарку.

Мыслями все наверху. Все думают о небе. Там, в темном небе, перекрещенном прожекторами, словно широким андреевским крестом, идет небесный бой, оттуда каждую минуту может упасть бомба, и что могут поделать эти женщины? — только ждать, их

мужья в небе, на крышах, у песочных ящичков, среди них были и Шостакович и Пастернак, тушат зажигалки, там летят раскаленные осколки, чтобы мы завтра собирали их, продолговатые и оплавленные по краям окалиной, как фигурки Джакометти. Тем же андреевским жестом, крест-накрест, были перекрещены клейкими полосками окна всех московских домов.

Дети бомбоубежищных подземелий, мы видели столько страшного, наши судьбы и души покалечены, кое-кто пошел по кривой дорожке — но почему эти подземелья вспоминаются сейчас как лучистые чертоги? Все люди и вещи будто очерчены, озарены святым ореолом, словно и не было счастливей дней.

Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно не осознанное тогда, страшных народных страданий и света праведности народной судьбы и общности, причащенности к ней.

Когда я потом взялся прокомментировать военную фотохронику М. Трахмана, это чувство неотвязно вело меня. Наша война застыла в черно-белых великих кадрах фильмов «Два бойца», «Летят журавли», в черных дисках с голосами Руслановой, Шульженко, Гурченко. От этого не отделаться при любом упоминании о войне.

Мы бежим с матерью по меже мимо зеленого звона овсов, я на ходу сдираю овсинки и, спотыкаясь, вышелушиваю пухлые молочнообразные зерна из длинных зеленых усов. Мы приближаемся к опушке.


Говорили, а может, ввали, что у немца далеко за лесом есть тайный аэродром, на котором он подготавливается и летит бомбить Москву. Ополченцы прочесывали лес.

Вдруг среди бела дня он вылетел, почти задев верхушки сосен, грохочущий «мессершмитт» с черным крестом, он летел, ковыляя, так низко, что мне казалось, будто я видел шлем пилота. Он дал несколько очередей по лесу и ушел на Малаховку. Мать столкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне стремительного неба замерла в беззащитном своем ситцевом, синем, спином бабушкой сарафане.



Но не только мое детство вижу в уголке этих муровских рисунков. Мотивы и фигуры, виденные художником во время войны, окаменели в будущих его вещах. Вот в правом уголке рисунка «Беженцы туннеля» застыла обернутая одеялом женщина с ребенком. Она стала прообразом его послевоенной мадонны для собора в Нортамптоне. На том же рисунке в лежащей фигуре на платформе мы узнаем позу его будущей «Лежащей», высеченной в 1957—1958 годах.

Та же обращенная к небу фигура. Взгляд женщины с тоской обращен в небо. Неужели опять?

 и сейчас ежедневно рисует. По утрам работает над скульптурой, после обеда отдыхает, а в сумерки, когда рука уже утомилась, рисует.

— У меня три причины заниматься рисунком. Когда рисуешь, можешь разглядывать людей, это наслаждение. Хотя и опасно. Когда я работал над портретом жены, я так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода, — подмигивает он мне. — Второе. Это мгновенное искреннее впечатление. Третье. Это моя поэзия.

Рисующий останавливает мгновения, он торопливо оставляет на листе лица и судьбы, спасая их от исчезновения, выхватывая из наступающей тьмы бытия. Вот еще одну спас, вот еще...

Такова же цель моих поспешных заметок — хочется хоть как-то задержать, сохранить от быстро текущего распада лица друзей, живые черты — вот еще одна, вот еще...

Как дед Мазай вытаскивал ушастых беженцев из несущегося потопа, так и пишущий спешит сохранить чьи-то жизни и минуты. Лодка прогибается. Еще одна, еще, вон еще, вон рука торчит, еще, еще вытягиваешь... Дело осложняется тем, что, спасая чьи-то минуты, ты тратишь минуты единственной жизни своей. Это делает все серьезным, а не забавой.

Мне много раз спасали жизнь.

---

В 1946 году инженер плодосовхоза в Одоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте. Я так вцепился ему в запястье, что остался круговой синяк.

Мне спас жизнь хирург Рябинкин, румяный, с клинышком воробьиной бородки.

Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость, и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу.

Меня спасли сибирские незнакомые ресторанные друзья тем, что, засидевшись с ними, я опоздал на самолет, который разбился вместе с моим сдачным чемоданом.

В страшные для меня дни ты прилетела на пару часов в Новосибирск, после этого сама ослепла на месяц.

Я вспоминаю всех, кто спас меня в тяжелейших ситуациях (как и каждого, наверное, спасают по многу раз за жизнь), тех, кто спас и забыл об этом, вспоминаю ваши ставшие родными лица, всю жизнь пробую возратить вам долг.

Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовем его здесь тов. О.

Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это — тоже.

Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мое программное произведение. Я понял, что пора кончать.

Близкие знают, что я никогда не жалуясь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.

Но тут подступил край. Непроглядная затягивающая дыра казалась единственным выходом.

Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления тоже. Я подумал о тех, кто придет. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта и пошел к седому теоретику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий ладонь пистолет. «Дайте мне его на три часа,—

объяснил я убедительно.— Меня шантажирует бабда. Хочу попугать».

Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: «Вчера Ляля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси к И. Там за триста рэ можно купить».

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от О.: «Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?» Сенсация у меня была.

В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, крикнул, но промолчал. Помню доброе участие Рекемчука и других членов редколлегии. Напечатали.

Держа свежий помер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда — не увидеть столько, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки. Как упоительно жить!

Мы редко встречаемся с О. Мы не близки ни в жизни, ни в литературе. При встрече со мной взор его гаснет. Но сердце мое наполняется веселой благодарностью ему. Он подарил мне все, чем я живу сейчас и что делаю. Воздай, судьба, ему всем добрым!

○ тчего российские ветры дуют в окна и щели этой английской усадьбы? Что за ностальгический сквозняк пронзает ее насквозь? Отчего именно в этих стенах меня одолевают родные воспоминания?

Ирина, жена скульптора, русская. Они прожили вместе более пятидесяти лет. Познакомив нас, Мур буркнул:

— Ну-ка, поговори с ним по-русски. Он, наверное, устал изъясняться на чужом наречии.

Сейчас она не может сопровождать нас, читатель, потому что лежит в мучительном гипсе с переломом ноги на втором этаже дома. Ее боль передается всем гипсам мастерских.

Русские музы в мировом искусстве XX века — особая тема. И Матисса, и Дали, и Леже, и Пикассо вдохновляли русские жены. Татьяны, Гали, Вавы, Нади, русые москвички и смолянки, каково вам было носиться над мировыми безднами, среди Лаур, Делей и Валькирий!

○ тветь хотя бы, где ты посишься сейчас, тоскливая перекасти-поле, перекасти-небо?

○ твалила. Намылилась и отвалила. Отвратительный, повторяю, она имела характер!

Как-то сел у машины аккумулятор, я подсоединил ее. Мы очнулись в окрестностях Житомира.

В редкие минуты благодушия она демонстрировала мне видения ведьм, российской истории и образы моего детства, которые я и сам не помнил.

— Покажи мне, что меня ожидает.

— О, для этого тебе надо было познакомиться с белой дырой.

И опять взрыв агрессии.

Как-то я привел ее пообедать в наш клуб. Она высосала невымытые мысли всего ресторана. Потом долго болела. Я не заметил, что в углу сидел протухший критик.

Ты ее не замечала. Тебя она, может быть, недолюбливала, но не трогала. Примеряла без тебя твой платя. Брезгливо брызгалась твоими духами, и брызги замирали на ней в воздухе, как огромный одуванчик.

Управы на нее не было. Как-то в сердцах я ее ударил. Она не знала, что это такое. Вся засияла улыбкой. Она думала, что это новая игра. Мой ботинок завяз в ней. Когда я его вытащил, он был покрыт жемчужной смеющейся пылью. Потом она что-то поняла и замкнулась.

А уж как любопытна она была! Одно слово — баба. Она лакомилась новостями. Прорва их в нее вмещалась. Любопытство и подвело ее. Осенью ее украли. Заманили и умыкнули. Через два дня сами принесли ее назад в мешке, перекошенные от тока. Я посоветовал им зарыться в землю, чтобы электричество стекало. До сих пор их не откопали — видно, не все еще стекло.

Я любил, когда она созывала гостей. Обычно приглашала Бориса Годунова, чету Макаровичных, нос Наполеона и ножку Павловой — остального она у них не помнила. Борис Годунов хорошо пел, но очень уж боялся автомобилей. Нос сидел у него на плече, как попугай, подпевая. Ножка Павловой сидела за столом строгая и прямая, чуть кивая балеткой, как туго натянутой шапочкой для душа. Угощала она телячьими запеченными окороками и лососиной, которые помнили по натюрмортам Эрмитажа.

Как-то в лифте сексуальный маньяк, маскирующийся сумкой с инструментом Мосгаза, хотел трахнуть ее по голове гаечным ключом. Его так садануло током, что он, повибрировав, превратился в злобную растерянную эпергию, которая на некоторое время увеличила скорость лифта. Через секунду лифт успокоился.

Ах, алкаши из Мосгаза! Опять сумку с инструментами в лифте забыли...

Однажды я предал ее. Но не мог же я везде таскать ее с собою! У нее в запасе была вечность, моя же жизнь была коротка.

Я сказал, что иду в контору, запер ее, а сам зарулил в гости. Когда я вывалился, напротив подъезда стояло такси с включенным счетчиком и отключенным шофером. В темноте машины я узнал ее мстительный взгляд. Дома, встретив, она ничего не сказала мне, но телефон неделю не работал.

Иногда она исчезала по своим цыганским непроглядным делам. Сначала я волновался, искал ее, боялся, что ее сожрут иные стихии и поля. Я оставлял форточку открытой, и она возвращалась. Я это узнавал по отключенному телефону.

Ответь, где ты носишься теперь?

О тлично работает телефон. Откровенно говоря, я рад, что от нее избавился. Возбужденные спелые кошки безопасно набираются солнца. Над Переделкином ревут самолеты. Никто не портит настроение.

Но какая-то пустота сосет под ложечкой, будто дыра какая тянет. Уж не сидит ли во мне самая-самая темнота, карамазовщина, роднящая меня с ней?

Я связываю это с тоской по оставленной архитектуре.

Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Вас будет сосать вакуум. Ночью вы будете путать имена. Вы пачнете чудохаться с витражами. Провоняете дом эпоксидкой, но вас все равно будет тянуть.

Мне рассказывали, что мой друг поэт мечтает, чтоб я вернулся в архитектуру. Этого же хотела бы моя мать, правда по иным причинам. Ей хочется для меня режима и уверенных потолков. Мне снятся архитектурные сны.

Люди занимаются архитектурой не только из утилитарных соображений, а для того, чтобы заполнить пустоту, преодолеть пространство небытия, черные дыры, бездны, окружающие жизнь. Как спрессованное будущее, противостоят им белые колонны Парфенона, столп Ивана Великого, «белые дыры» стадионов.

Как и поэты, архитекторы глядят глазами будущего. Задолго до изобретения самолетов каждый архитектор видел свои сооружения не фасадно — с улицы, а весь объем с птичьего полета, «с птички». Теперь так может видеть каждый из окна самолета.


Мне снится какая-то мраморная кропа.

О тозвав меня в сторонку, слабо улыбнувшись, будто по малой нужде, Мур заводит меня за вертикальную мраморную плиту.

— Я знаю, чем вы интересуетесь. Ее здесь пет.— Он проводит ладонью по нагретой от солнца плите.— Она здесь была. Вот ее место в камне. Она из породы блуждающих черных дыр. Они улетают.— По лицу его пробегает тень.— Она была любимым из моих созданий. Поинтересуйтесь-ка у Пикассо. Он мог переманить. Он — пожиратель дыр.

Я заметил, что он не сказал все это вслух, словами, а передал посредством мыслей. «Не так-то прост этот садик», — подумал я.

Но Мур, подмигнув, через секунду уже превратился в классического Мура, его глазенки-незабудки озябли и спрятались под мохом бровей.

 кошко, круглое окошко домика на горе, прилепившегося, как известковое птичье гнездо. Уж не оттого ли круглое, чтобы удобнее было залетать? А для тех, кто не умеет летать, черные перила лестницы ведут в спальню второго этажа.

Как спят гении?

Может быть, на ковре-самолете, или на метле, или на шаре, или на эластичном матрасе, наполненном вместо ваты пружинистой водой, или в постоянном состоянии невесомости они приклеиваются снизу к перине, парящей над ними?

Вы спали в кровати Пикассо?

Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы очей не сомкнете. Квадратная низкая кровать — в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни. Слева дверь в ванную. На полу длиннорунный палас его работы. Под лампой на тумбочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами, она помнит, как когда-то прогибалась под ним.

Давно ли вы лежали в той же позе лицом вниз, содрогаясь от рвотных спазмов?

Не топлено. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие простыни вознаются в спину и икры.

Очень широкая эта кровать.

Пикассо не был большого роста. Что он, катал-

ся по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок?

Вы по несколько раз бегаєте в горячий душ согреваться. Как страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная нетрезвая мировая ночь спит, ворочается, темнеет, дышит рядом с вами, разметавшись, спят Парижи, небеса и недра, принадлежавшие ему.

Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без ног скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода.

Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливаются на мгновение раньше, и свет зажигается на миг раньше, чем вы ее нажали. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и угориваете себя сами, что это от холода.

Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.

На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.

Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он сминал крышку пополам боками вверх, так что получались крылья.

Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в бескрайний овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский...

Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.

Припоминая пустые залы,  
с гостьей высокой, в афроприческе,  
шел я, как с черным воздушным шаром.  
Из-под дверей приближался Чайковский.

В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.



Пикассо был полуголд, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.

Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.

Его глаза торчали навывкат, вылезали из лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.

— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.

Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со щучьей загадочной улыбкой.

И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «шевроле». Млели белые купальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.

Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».

Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.

В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми — Шекспир и Эйзенштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.

Космонавт, заколачивая в лузу белые шары, рассказывал мне о невесомости:

— Там у стола нет ни верха, ни низа... Режу на полшара!.. Можно подплывать к столу с любой стороны... Хорош своячок. Сейчас мы его нежненько... Чтобы люди не сдвинулись в сознании, остаются условные верх и низ. Нам спроектировали комфортабельные кресла со спинками, мягко поддерживающими усталое тело. Но что поддерживать, если нет притяжения?.. Сейчас зайчиков влупим. И сами себе подставим... Мы, конечно, эти спинки отменили. Психика еще не освоилась с полной свободой от притяжения... Ах, замазан. Жаль.

Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать.

Их ведьмы летают вверх головами, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения.

Я отчетливо помню, как ты поутру улетаала от меня. Ты удалялась попросту, по-нашему вниз головой. Как будто твое отражение. Обратив лицо вниз, к земле, не отводя от меня прощального взгляда.

Над тобою, будто ты подвешена к ним и они уносят тебя, плыли белые туфельки вверх полукаблучками, срезанными наклонно, словно трубы удаляющегося теплохода.

Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил границу возможностей. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.

Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал: «А не видали ли вы, маэстро...»

Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»

Потом он обжирался дырами.

Склонив набок голову, зажмурясь, он со смачным всхлипом, причмокивая языком, высасывал дыры из черно-лиловых мидий. Стол вокруг него был завален их раздавленными скорлупами с микроскопическими бороздками, как покоробленные осколки

грампластинок, на которых записано море. Он шинковал ломтями золотые пахучие дыры дынь, называемых у нас «колхозницами». Затем, опорожнив, выковыряв дыру из банки, он намазывал на ломоть белого хлеба тонким слоем дырки черной икры, так что ломоть становился похожим на маленькое решето. И наконец, подмигнув, высасывал ароматную дыру из темного горлышка пузатой бутылки, оплетенной прутьями, как корзина.

Когда он проходил, дыры шмыгали и забирались в норы. «Тссс! — слышался восхищенный шорох.— Идет пожиратель дыр».

Тревоугодник и чародей, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожня мастерские других художников, он присоединял их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.

С особым вкусом он показывал керамику. Томилась пепельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Это искусство нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков. Красоте тесно в галерейных рамках, ей хочется стать жизнью людей. Она желает, чтобы ее касались губами, брали в теплые руки, наполняли дыханием и вечерним чаем. Чтобы она шубертовской или сегодняшней легкой мелодией оставалась на устах после радио. Чтобы воздух вокруг людей звучал красиво.

Голубка Пикассо свила свои гнезда в миллионах халуп.

Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.

Пикассо жаждал знать все.

Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.

---

— Они же не умеют слушать стихи в театре, — бурчал он.

Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.

Я видел, как в доме Арагона раскрытая книга, страница которой разрисована фломастером Пикассо, поставлена в паспарту и застеклена в раму, — в старинном, артистично-аристократическом доме, где вместо лифта вы садитесь в людовиковское кресло и вас подъемником взвивают на этаж.

Арагон тогда напоминал худощавого тонкогубого заколдованного рыцаря. Одевался он аскетично. Он еще не раскрепостился и не носил белых кудрей до плеч, бархатных, расшитых золотом плащей и золотых туфель.

На моем поэтическом вечере, состоявшемся в театре «Вьё Коломбье», справа в зале сидел Бретон с ватагой, слева маячил белоснежный пик Арагона с товарищами. Два поэта, когда-то братья по сюрреализму, теперь они смертельно враждовали. Зал был похож на омут с двумя круговоротами или электробритву с двумя плавающими ножами. Если справа хлопали, слева закручивался вакуум тишины. И наоборот. Это вообще был первый вечер русской поэзии в театре Парижа. Там ранее не было традиций поэтических вечеров. Поэтому так полярно разнообразна была аудитория. Восседали мэтры, бушевали студенты, шуршали шумные платья мемуаровые. Зал, как корзина для голосования, полная черных и белых шаров, был доверху полон белыми и черными дырами людских судеб. Снаружи ломились, напирали шары судеб, не попавшие в зал.

Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии — еще! еще! — жаждал вобрать всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.

Век проносился, чудовищный и прекрасный, и он торопился придать ему человеческую форму, пока

---

материал не застынет, не отойдет к другим векам и ничего уже исправить будет нельзя.

Да здравствует культура XX века, которую не сжечь, не расстрелять, которая существует! Да здравствует бешеное бессмертие ее мастеров! В потоке мирового сознания по ней, по этой культуре — по кому же еще? — найдут и вспомнят о нас с вами, о нашем веке.

Спасибо, что мы были свидетелями этого века, пока итогового для людской истории. Мы были свидетелями открытия и тюменской нефти, и неиссякаемого источника нового романа Булгакова.

Век стер многие границы. Намечается новая общность людей — творяне, как назвал их на заре века поэт: «Это шествуют творяне, заменившие Д на Т». У каждого из них за спиной свое трудное Т, такой формы был крест первых христиан.

«Блажен, кто посетил сей мир  
в его минуты роковые».

Блажен творянин Ефремов, жилистый и мосластый, как бурлак, который, зажав пальцами язву, тянет великую лямку театра! Блажен творянин Айтматов, прирезавший к своим степям космические уголья! Тарусский творянин Паустовский навечно владеет поместьями среднерусского пейзажа.

Беловежский творянин Бедуля, сломав ногу на ухабах сельского хозяйствования, поднял ее античную гипсину, несется на костылях по полям, наклонясь вперед, будто он целует эту землю.

Потомственный творянин Капица, светясь по вечерам, приходит в миллионы квартир, в их невероятные обыкновенные судьбы.

Похожий на генералов-усачей 1812 года курганский творянин Гаврила Илизаров, Мур наших костей, выращивает, как волшебные каллы и ландыши, новые живые голени, ступни и кисти. Нервные узлы расцветают, как орхидеи. Осчастливленной женщине он вылепил новое рубенсовское бедро. Сейчас он, как бамбук, выращивает позвоночник.

Отсутствующий палец вырастает на глазах в белую дыру кости, затем обрастает плотью, и на конце его, как лепесток, распускается ноготь.

Еретику Илизарову было трудно преодолеть людскую косность. Теория не поспевала. Но поги и руки стремительно росли.

В жизни он то хмуро-сосредоточен, то жаждет шумного общения. Он обожает чудесить с картами. Под его добродушными усами черви у вас на глазах чернеют в пиковки. Я, как и все сначала, не доверял ему, но потом несколько раз из колоды, перемешав ее своими руками, вытаскивал четыре дамы.

В Кургане я пошел в первый класс. С тех пор, может не без его чар, деревянный одноэтажный городишко вырос в девятиэтажный центр с клиникой, которая дает ошеломленному миру уроки магического материализма.

Сущность его метода в том, что кости пронзаются илизаровскими спицами в особом, похожем на шлем космонавта аппарате. Они растут, тянутся к иным измерениям. Маячит элизиум теней — работает Илизаров.

Когда я встретил Гагарина, боковой свет окна скользнул по нему, я заметил, как блеснул шрам, рассекший его бровь, — словно белый короткий мазок кисти, которым Феофан метил свои лики. Его любил народ, что непредсказуемо, особенно для судеб на гребне успеха. Место под Киржачом, которое пропала его бесшабашная гибель, считается чудодейственным. К нему стекаются паломники.

Смоленский творянин Твардовский с наплывшим, как слеза, лицом, высоким голосом пел на всю Европу свою родословную песнь: «Там и утром все дождь, дождь...» Как не хватает в поэзии сейчас его ноты, его великой своенравной фигуры!

Мои стихи, конечно, не были ему близки. Он напечатал «Тоску» и «Не пишется», то, что ему было ближе, и для того, чтобы поддержать меня в трудные дни. Он чувствовал ответственность за всю литературу, так же как в свое время его Теркин ответил за всю народную жизнь, встретившуюся со стихией войны и смерти.

Матерый творянин Распутин, сам с черепом, проломанным разбойным ударом, помог творянину Евтушенко в его прозаическом начинании.

Да исчезнут распри между творянами!

Выстраданную речь об упырном потребительстве и пустобрехе произнес на Творянском собрании твердый творянин Федор Абрамов. Не надо плакать над родной землей и умиляться, надо тяжким трудом ее подымать. Нужны люди дела. Кто сегодня спасет землю от запустения, кто взрастит леса, даст людям кров, красоту и продовольствие? Чтобы люди сносно жили и красиво пели. Только творяне. Впервые на земле все пронизывает один вопрос, вобравший все мучившие человечество вопросы: жить или не жить? Не одному, не городу, не стране — всему роду людскому. Кто может спасти? Только те, в ком жив творянский дух.

Осовелым, завистливым взглядом следят за творянами упыри. В «Гернике» Пикассо обозначил клыки мирового упыризма.

По ночам на запущенном кладбище вздрагивает крышка гроба. Зеленая рука, как ящерица, выскальзывает из щели наружу, открывая гробовую крышку. Черные норы проваливаются в холмиках могил.

Как сова, встряхнулась урна старого колумбария. Сдвигается крышечка. Из маленького жерла вылетает прах мерцающим роem. Так некогда из жерла вылетал прах Лжедмитрия. Рой обретает очертания тел, материализуется — появляются лжепоэты, лжегерои, лжепередовики. Упыря можно узнать по тухлому взгляду. От его взгляда киснет молоко и увядают молодые поэты. Он внешне энергичен, он делает карьеру, он пробует быть обаятельным. Но люди не любят его, инстинктивно чужа, что под кислым перегаром скрывается сладковатый запах мертвечины. Люди холодны к его «творениям». Он не может ничего построить и сотворить, от этого он ущемлен и ненавидит тех, кто творит и строит.

В ампириных рамках мерцают портреты великих упырей — тех, кто опробовал кровь Пушкина, кто надел удавку на открытую шею Есенина, кто продырявил грудь Маяковского, чтобы долго сосать их бессмертную кровь. С безразличностью взирают портреты на своих последышей. Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь. Мелок, склизок, как лету-

чая мышь с детскими пальчиками. Завидуют. Плетут клевету, интриги, гнусь.

А это кто шустрит за столом? Кто следующий на повестке ночи? Уж не наш ли это осведомленный критик? Он водрузил на стол тяжелую дубовую доску с очком посередине. Просунув голову в очко, он, как собака из конуры, вещает: «Водопроводы всё, унитапы... Забыли мы классические традиции!» Взволнованный, под жидкие аплодисменты уходит к двери. «Куда?» — подозрительно спросили. — «Волгу» прогрею. Вьюжит. Да секретку проверю». Через полчаса из туалета доносится вороватый шум спускаемой воды. Не тот пошел упырь. Нет чистоты убеждений.

Уханье, хлюп, храп.

Осторожнее, читатель, не шурши платьем. Услышат. Заметили!

Мерзкие глазенки оборачиваются на вас со злобой и страхом, скользкие мышинные пальчики тычут в вашу сторону.

Погоня. Чур меня, чур!

Упыри преследовали Пикассо. Он должен был покинуть франкистскую упыриную Испанию. И сейчас, когда слышатся речи о «чистом» оружии, гуманно убивающем миллионы, или когда, вздохнув, призывают к ядерной войне, я чувствую упыриный дух. Их, как по фотографиям, можно узнать по «Гернике». Они могут быть образованными. Но разве важно, что они захотят сыграть вам на пусковой кнопке — «Хабанеру» или такты Девятой симфонии?

Недавно в Москве гостил Чик Кореа, исповедующий Дебюсси, Стравинского и Щедрина. Великолепный Чик, небесная мангуста в зеленой жилетке, играл в Доме композиторов с нашими музыкантами. На той же клавиатуре блеснул наш Чижик. Золотые трубы Москвы — неистовый узкобородый Козлов, Лукьянов в inferнальном френче, Алексей Зубов с усищами, изогнутыми, как дудки тромбона, — переплелись со сверхъестественным роялем Чика. Они не были трубами Апокалипсиса. Это был не обычный «джем». Вдруг, неожиданно оказавшись в зале, вышли на сцену и заголосили девушки Покровского —



жемчужные собирательницы и паломницы русской песни. Небесные «о» и «а» российского распева оказались ближе всего к неземному роялю гостя. Это был праздник души. Искушенный зал скандировал. Это звучала нежная погребальная упырям. Объятия культур противостоят мировому разладу.

Тореадоры специально приезжали на юг Франции из Испании, чтобы устроить для Пикассо корриду. Он рисует на книге, которую дарит мне, быка и пикадора. Это его автопортрет, потому что художник всегда и пикадор и бык одновременно.

И вдруг я заметил, как жадно и жалостливо мелькнул его зрачок, и я понял, что век столетия истекает, но через секунду он уже хохочет и, подмигнув, рисует мне деда-мороза.



сыпается небо.

Я привез снег в Антиб.

Темные зеленые рощи изумленно ежились, как крупной солью пересыпанные снегом.

Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. Его слова были окутаны паром. Пар исходил не только из губ его и ноздрей, пар шел изо всех пор его горячего тела, гневного столба его жизни, все тело его клубилось на морозе.

Так же под ярким синим небом, отходя от неожиданного снега, дымилась разомлевшая земля. Пар шел от мокрых скамеек, дымилась и остро,пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов, ошпаренных снегом и потом солнцем. Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес.

В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его.


Не подозревая, что они ему позируют, внизу, под горой, млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как Ватерлоо ста-


ринной гравюры, бездонная загадка существования, история.

А надо всем этим слева от меня торжествовал, кричал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком как будто мыльной белой пены вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый и отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами.

Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе.

Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял столб пара. Пар рассеялся. Пикассо не было. Я обернулся через двадцать лет.

 твердая черная дыра затянула его, неужели и его тоже?

 кончив серию «Бомбоубежищ», Мур отправился на родину в Йоркшир, где спустился в забой, в глубины рождения и детства, и создал серию рисунков, посвященных страшному и великому труду шахтеров во время войны. Он рисовал в полной темноте. Мур впервые обратился к мужским фигурам. Труд шахтера под стать труду скульптора. Прорубаются тысячелетия, спрессованные в уголь.

Мрак. Свет фонарей из лба. Слепая белая лошадь. Сваи креплений. Голые мускулистые фигуры.

Мы идем за ними в прорубаемом коридоре. В проеме брезжит свет. Непроглядная стена рушится.

Иные пространства, иные дни. Встречные лица. Оранжевые, по форме как грецкие орехи, подземные каски.

Мы попадаем в необлицованную металлическую трубу туннеля с поперечными ребрами. Поблескивают уже проложенные рельсы, много воды на стенах и под ногами. Два парня в касках толкают вагонетку с бетоном. Один оборачивается — у него лицо подпаса. В бытовке на столе рядом, за извествлен-

ной бутылкой из-под кефира, прислонены к окну два пакета с апельсинами. По восторженным подземным оборотам речи мы понимаем, что идет строительство метро «Нагатинская».

Из темноты клубится сияние. Между прорабами, бетонщиками, лимитчиками, грунтовыми судьбами, как гипсовый кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. «Перекосили!» — стонет он. Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы. Он как лепная белая дыра носится по подземелью. Оказалось, не перекосили.

В спокойном состоянии зодчий похож на белый мраморный бюст Гете, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе.

Среди ора и толкучки он несет сияние взгляда на закинутом лице, как официант над головами пронесит на закинутой руке поднос с сияющим хрусталем, наполненным волшебной влагой.

Это первая в Москве подземная станция с круглыми колоннами. Вот они стоят — скользкие, из белого мрамора под обрез, от пола до потолка.

Трудно было пробить этот проект, осуществлять — адски. Строители отказываются от круглой формы — она невыгодна и трудновыполнима. Круг — форма идеальная. Мука его выкладывать. Ни угроз, ни деньги, ни поллитры здесь не властны. Только если рабочий влюбится в ваше создание, станет создателем, вложит душу, колонна закрутится. До сих пор этого под землей никому не удавалось.

Подходит рабочий. Столбовой творянин. Он полон какой-то невысказанной благодати. Ему надо, чтобы его поняли. Когда он приближается к колонне, белым отсветом наполняется его худое лицо, каждая морщинка вспыхивает. «Да ведь как сложно класть-то, — сияет он. — Одна плитка горбатенькая, другая пузатенькая. Подгоняешь. Ведь первая такая станция с круглыми колоннами. Надо не осрамиться. Еще никому не удавалось».

Оранжевые щиты забора ограничивают участок стройки. Выходим по шатким доскам в раскисшую от дождя глину. Вход уже замраморован. На нем протрупают эмблемы «Спартак» и «ЦСКА».


Это героглифы жителей XXI века. Им сейчас по двенадцать — семнадцать лет. Моя знакомая видела их орду в метро «Маяковская». Их было несколько сотен. Они высыпали мгновенно из невидимых дыр XXI века. Они носились, бесились, они прыгали, разминались, никого не трогали, хохотали, мрачнели и исчезли. Отмахнуться от них просто — надо попробовать их понять, ведь они из числа тех, кто будет жить в следующем веке. Что за песни споет их новый поэт? Что за музыка в них?

Блок скифов? Или блок с фильтром?

Справа в щели забора раскинулся огромный город, в котором мы с вами живем. К полям и рощам проносится Варшавское шоссе. Слева в двадцати метрах от забора расположилась платформа электрички «Нижние Котлы». Затормаживаются и проносятся зеленые воскресные вагоны, битком набитые черемухой.

Из проема в заборе на платформу выбегает долггоривый парень с лицом подпaska. Он уже успел переодеться. На нем брусничная рубаша павыпуск. Он несет два пакета с апельсинами. Он с размаху прыгает в утрамбованную спинами, раскрытую дверь электрички. Пакет рвется, апельсины раскатываются по платформе, как лихо разбитая бильярдная пирамида. Вагон трогается с прищемленным в дверях хвостом брусничной рубашки.

Один апельсин поскакал по платформе, скатился по ступенькам, прокатился по асфальту переезда, как колобок провильнув между уже двинувшимся потоком машин, пролетел какой-то темный промежуток, покатился по другому тротуару и ткнулся в дубовую дверь отеля «Черти».

 отель «Черти» — антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью папахивает. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилап Томас. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по энергии тяготеющих к «белым дырам», посягающих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские красные перочинные ножи.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Чарли, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках и пиджаках из золотого позумента, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Его отражение я видел, подымаясь в зеркальном лифте.

Ширли Кларк, черная режиссерша подпольного кино, чмокая слова улыбающимися вывернутыми губами и языком, будто сося апельсиновую дольку, рассказывала эту историю.

Это была история песнопевца, его мгновенной сказочной славы. Он происходил из суровой части страны, какой — Ширли так и не могла пояснить, но которая сильно пострадала во время войны.

Он сочинял песни. Сюда он приехал на выступления. Один известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Черти». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай. У него кружилась голова.

Она была одним из доказательств этого головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магнитная вспышка подчеркивала ее бли-

зѳсть к иным стихиям. Она была звездна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря» — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые поздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны, как, наверное, и для нашей, апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со своей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за испуганностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь,— тоскливо думал он, возвращаясь в отель.— Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин».

У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, думал. Потом пошел во фруКТовую лавку, которых много вокруг «Черти». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Черти», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруКТовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в растегнутой полузаправленной рубаше. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

— Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света — замыкание.

И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике.

Ах так! Она еще не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась, Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным булыжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном проливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горюшь с головы до ног. Тебя надо тушить из планга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим!

Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и Парижами, наш пламенный плот!

Они зовут давить их, кувыряться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтобы дальние свечки зашипели от сока.

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожи.



Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее.

— Клинический тип,— успела сказать она.— Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестлали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Черти» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Славянский дизайн».



Оддохнем, мой читатель. Оторвемся в глушь. Сейчас такой июнь и омут!

Скрывшись от посторонних глаз, как волшебный столбняк фиалок на полуметровых стеблях, цветет баснословный остров молодой сильной лесной крапивы.

Этого не увидишь у затурканных дачных крапив.

Лесная крапива дает сильные лиловые цветы, размером похожие на фиалки. Они растут столбцами, как гиацинты, вокруг стеблей. Каждое соцветие формой напоминает лиловый львиный зев. Я заметил, что цветут только молодые крапивы с мелкими листьями. Орясины с большими листьями цветов не дают. Я очень люблю эти заповедные цветы.

В них есть блеклая гамма Борисова-Мусатова, острая зелень Гончаровой. Они напоминают угрюмство молодой Цветаевой. Потом она гибла от быта, мыла посуду, имела колючий нрав, но цвела упрямо и заповедно. Люблю эти цветы.

Давайте я нарву вам, милый читатель, дикую охотку крапивы, она молодая, не так жжется, это будет с ней потом, когда ожесточится.

Вы поставьте этот ворох в ведро с водой, лучше колодезной.

**После первых гроз красиво  
фиолетово цветет  
некрещеная крапива —  
розы северных широт.**

Иностранцы и кассиры  
не познают до конца,  
в чем скрывается России  
ведьмовидная краса.  
Будет в доме изумленном  
острый запах красоты  
и лиловые с зеленым  
декадентские цветы.  
Этот омут декадентский,  
притаившийся в шипах,  
так похож на нрав твой женский  
в фиолетовых шелках.

Тебе много ломали цветов, черемухи, роз, я и сам наламыывал тебе сирень, но уверен, что цикто не дарил крапивы, — а ведь как свежа и хороша! Я дарю полную охапку, вон девчонки у речки смеются — мужик крапиву рвет, наверное, лечится, я рву, я дарю ее вам, переполненную охапку, уже рук не хватает, столько ее вокруг. Я дарю вам всю опушку, весь остров дарю, да и что там — все оставшееся...

В траве прошелестел Осведомленный критик.

Очень может быть, что ты мстишь мне, посылая на меня как радиопомехи всякие воспоминания. Или я заразился от тебя, подхватив бактерию памяти? Какой бы поступок я ни совершил, одновременно происходит со мной уже бывшее в моей нынешней или прошлой жизни. Где-то ты носишься, как темный спутник связи, посылая мне через себя непрошеное прошлое? Сам процесс памяти для меня связан с тобой, он представляет тревогу и, не скрою, наслаждение. Кого бы я ни вспоминал, вспоминал тебя. Как ты, наверное, там мстительно торжествуешь — я не расстаюсь с тобой.

«Отец мужчины — детство», — читаем у Вордсворса.

Я родился в Москве. Но с детских лет мое московское «а» обкатывалось круглым «о» володимирской речи.

На моих глазах овальная музыка речи обретала форму.

Так же округлы были холмы над рекой, облака, праздничные яйца, крашенные суриком, золотом и жареным луком. Овальным, завершенным был уклад жизни и скорлупы лесных орехов, которые мы собирали огромными корзинами, а потом сушили на крыше. Собирать орехи радостно. Не надо сгибаться. Когда берете гриб или ягоду, надо сначала поклониться, как бы благодаря их за то, что берешь. Бруснику же вообще собирают на коленях.

Орешник по росту вам. Впрочем, лесные орехи круглы-то круглы, но имеют вверху шлемовидное завершение. Они растут на ветках кучками, по четыре-пять, прижавшись один к другому, каждый в своем зеленом гнездышке. Их светлые затылки торчат из зеленых гнезд, как выглядывают из зелени на холмах уменьшенные далью пятиглавые соборы.

Сродни этой плавности были широкая округность огромного города, из которого я приехал, образованного семью холмами и двумя кольцами — Садовым и Бульварным (в отличие от прямоугольной планировки Ленинграда или Нью-Йорка).

Свердловчанин Севастьянов рассказывал, что из черного космоса Москва выглядит ромашкой с круглым центром и лепестками новых кварталов, оборванных, как при гадании «любит-не-любит».

Я знаю наклоны, повороты и подъемы этого города сердцем и кишками, не раз прогнав по Садовому на велосипеде. Четой белеющих берез моего детства были две старые ампирные колонны на Полянке, с облупленной штукатуркой, как яичная скорлупа, и проступившим кирпичом под ними. Но странное дело, колонны эти никак не противоречили и душевно сочетались со статными владимирскими берестяными сестрами.

Сейчас много и правильно говорят о душевной общности и стиле литературных школ — вологодской, ростовской, рязанской и т. д. Думаю, что философам нашим надо подумать о душевном складе и стиле мышления уроженцев Чистых прудов и Замоскворечья.

Сердце так же стонет, как от порубленной  
рощи, от снесенных кварталов и оград.

Арбат — это наш Вишневы сад.

Что ты хочешь сказать, насылая на меня  
эти круглые воспоминания, зачем ты хочешь за-  
кружить меня?

○ падайте, кружитесь, вращайтесь, вытягивай-  
тесь макаронами по окружности, смазанные лица,  
сгущенкой и мазутом вытягивайтесь, глаза!

Я кружусь на спор, раскинув руки буквой «т»,  
окруженный сверстниками двора, на встающей вер-  
тикально мостовой.

Двадцать, тридцать! Подступает взлетная тош-  
нота. Сорок. Шире круг! Сливайтесь в туман, дво-  
ровые мучители! Шире круг. Я взлетаю пропеллер-  
ным винтом над качнувшимся двором. Шире круг!  
Кружись, жизнь, я обожаю тебя.

Шире круг. Я — Василий Блаженный. Я кру-  
жусь хороводом моих раскрашенных неслыханных  
куполов.

Движение замедляется. Я застываю в исто-  
рию. Людские фигурки проступают сквозь великий  
туман.

Я окружен практикантами с подрамниками.  
Они рисуют меня. Я не вижу, что на подрамниках.  
Но в их лицах отражаются мои пожары и вековой  
туман.

Вот один, тощий, отходит от рисунка, пятясь,  
чтобы сравнить нарисованное со мной. Он отступает  
еще. Его губы что-то бормочут. Я не слышу что, но  
понимаю, что это имеет отношение ко мне. Он отхо-  
дит еще. Вот уже его не видно в толпе. Он отходит  
от архитектуры. Он уходит в поэзию.

○ сновное мое детство и отрочество прошло на  
Большой Серпуховской. Лиричность владимирского  
зодчества отразилась в полуутопленных арках зала

метро «Добрынинская» — самой сердечной из московских станций. Она, как владимирская бабушка или мамка, стояла на выходе из моего детства, будто приехала в столицу присматривать за ним, направляя пути начинавшейся жизни. У всех были свои Арины Родионовны, у меня — эта.

Архитектор Павлов, прежде чем нарисовать ее, провел почь в июле 1945 года с церковью Покрова на Нерли — самой женственной кувшинкой русской архитектуры.

Тогда рядом с нею существовала колокольня. В ней сушили сено. Сторож разместил Павлова на почлег на этом поднебесном сеновале. Затаившись, не дыша, он сверху наблюдал за изменением ее состояний. Ее светлые дуги отражались в воде. Два ее расцветных часа волшебны.

Сначала она была сумеречно-серой, потом стала голубой. Потом зарделась смущенным розовым. Затем обрела ровный желтый спокойный свет. «Это как женщина, все познавшая», — взволнованно рассказывал он, воровски пряча свой голубой взор, теперь понятно, откуда похищенный. Потом она стала белой.

Приехав в Москву, он за один вечер нарисовал проект станции. Его потом крепко прорабатывали за поклонение древнерусской архитектуре, а заодно почему-то и западной. Но она уже была построена, и навеки в ее подземных залах отразились белые и палевые очарованные очертания Покрова на Нерли. Одни из первых моих стихов были об этом храме, и даже теперь, когда он стал туристическим объектом, свет его неиссякаем.

Во Владимирской области на границе с Горьковской есть места с дурной славой — это обычно пизины с заболоченным хмурым пейзажем. Там даже местных жителей начинает «водить». Вы кружите полдня по лесу и потом выходите к тому же месту как бы под тяжелым гипнозом. Народные суеверья относят это к влиянию ведьм или русалок. Что ты водишь меня по кругу, плутаешь, путаешь меня в чащах памяти, возвращая все к тем же воспомина-  
ниям?

Ориентировалась ты по излучению. У тебя не было глаз, ушей, чтобы узнавать цвет или звук. Порой ты забиралась в кого-нибудь, как кошка в старую туфлю, и из него наблюдала мир.

Однажды ты вселилась в школьницу, напялив ее на себя, как комбинезон. Ее поздрыми и зрочками ты поняла, как пахнет белый гриб, как красна рябина. Ты проникла в мир наших первичных ощущений, для тебя наивных и свежих, как Пиросмани. Этот мир увлек, влюбил тебя.

Во время сдачи прыжков на порму ГТО школьница невзначай зыркнула на трех зазевавшихся кошек. Те сникли под ее взглядом. Школьница взлетела без шеста на четыре сорок, однако, взлетев в зепит, увидела под собой изумленные лица, поняла, что, видно, делает что-то не то, и с половицы прыжка скромно вернулась к исходной точке.

Но на уроке истории школьница ляпула две фразы, в бездне информации которых утонул учитель. Он свихнулся. Тебя увезли в «скорой помощи». В унылом доме, куда тебя привезли, санитары не верили тебе, что Петр Первый был сыном Никона, и оказались противниками 17-го уравнения Бора. Вырываясь от них, ты порезала руку об пробитое окно, как рвут брюки, пролезая через забор. Ты была в крови, было больно, по-человечьи отчаянно, ты была в смятении — ты побежала по проволоке электропередачи вдоль загородного шоссе. Под тобой бежали санитары, толпа, выли сирены.

Ты не понимала, в чем дело. Ты припосила людям, в которых радостно вселялась, несчастья. Потом ты вселилась в поэта Репкина. Он написал гениальную поэму. Но все опять кончилось плачевно — он развелся.

Обиженная шаровая энергия освобожденно летела над рекой.

— Ой, тетка, почему ты ко всем цепляешься, такая злая, кожу ободрать поровишь?

— Жизнь меня насквозь всю издырявила. Вот и стала как терка.

○ казывается, что я всю жизнь как бы готовился к встрече с тобой, не могла же ты подтасовать все эти кругляшки в моей памяти?

У деда в саду было два улья. Над ними кружился золотой гул в форме роя. На речке дед учил меня плести корзины из лозы — согнутые в дуги, стояли остовы для корзин, как овальные рамы, белые и скользкие прутьевые рамы речного пейзажа.

А вечерами дугами вытягивались гармоника, а в последние годы трофейный аккордеон. Крашенная перекистью красивая продавщица с синими наведенными бровями и в трофейных чулках с черным швом, поддавшая, но в норме, выходила из круга и, сдав подруге на сохранение лаковую сумку, подбоченивалась кренделем и кричала свежую частушку. Ее речевой слой отличался речным вольным воздухом от нахмуренного блатного фольклора многоэтажных дворов. В самой жизни, как бы тяжела она ни была, незримо присутствует светлый рублевский овал, созданный, как известно, в години народных бедствий, когда жгли города и живьем по пояс закапывали людей в землю.

На попутном грузовике по знаменитой Владимирке мы приезжали в город с белым кремлем на холме.

Белокаменный проем арки гениальных Золотых ворот обретал форму О, по пояс врытую в землю.

○ долело виденье!  
Одутловатый медвяный образ преследует меня.

Отстань! Таких уже нет больше в нашей жизни. Я прилеплю тебя к этой странице, чтобы ты от меня отцепился.

Круглых дураков мне не встречалось, зато овальных хватает. Зайдешь к нему, к редактору, в кабинет. У него абсолютный вкус. Его глазки мгно-

венно сужаются, найдя лучшую строку. «Гениально»,— сладострастно стонет он и вычеркивает ее. У поэта Вентилянского есть тетрадь вычеркнутых им строк из разных авторов. Это целая антология. К счастью, не все редакторы, даже в пятидесятые годы, были такими.

Моя знакомая, талантливый критик, была в восторге от одной повести. Она трепетала и цепене-ла. «Почему же ты о ней не напишешь?» «Мне никто не заказал статьи»,— вздохнула. Как будто Толстой ждал заказа на свое «Не могу молчать!», а Булгаков дожидался договора, чтобы начать своего «Мастера»! Думаю, что у меня не было бы ни одного стихотворения, если бы я ждал на них заказа редакций журналов.

Судьба чаще заносила меня в круг добрых людей — это высоченный, из породы переделкинских со-сен, недосыгаемый энциклопедист Чуковский; это домашний Маршак с плотно прихлопнутым ртом, похожим на сказочный кошелек, набитый золотыми монетами слов; это первый силач из московских поэ-тов Коля Глазков, в обхватку боровшийся с зеленым змием.

В С. С. Наровчатове была голубоглазая груз-ность екатерининских военачальников. Его окутыва-ла пороховая и волшебная дымка российской исто-рии. Его серый пиджак бывал помятым, но мне все-гда казалось, что его согнутая в локте рука держит треуголку и жемчужный фельдмаршальский жезл. Легкая одышка напоминала о тяжелых перевалах судьбы.

Отношения у нас были заповедными. Когда-то он побранил меня в статье. Озлившись, я печатно обозвал его Нравоучатовым. Другой бы мстил. Но он был творянином. В нем была широта. Мы встретились и говорили о судьбе и истории, он сказал, что не все понимал, он поделился замыслом своего рассказа о диспуте с Иоанном Грозным, под-начивал меня опробовать прозу. В его взоре синела смущенная нежность художника и книжного княжича. Он напечатал наиболее дорогие мои ве-щи и написал в «Правде» обо мне самую лестную статью.



Около Владимира, во Мстере, учился Павлов. Павлов — творянин из дворян. Брат его матери генерал Костяев, герой японской и германской войн, знавший семь языков, стал начальником Полевого штаба Красной Армии, был в числе десяти обладателей четырех ромбов. В детстве Павлов дома близко общался с Тухачевским, с не снимавшей шляпку Коллонтай, играл в городки с бородатым Дыбенко. Когда Деникин подходил к Москве, под Тулой голодная дивизия взбунтовалась против Троцкого и грозила перейти к Деникину. Послали Костяева. Человек безумной храбрости, он в одиночку вышел на митинг перед разбушевавшейся стихией и распахнул командармскую шинель. Под ней был надет генеральский мундир с золотыми эполетами, лентами и орденами. «Видите, я, царский генерал, стал красным. А вы?» Он убедил.

Областное Владимирское издательство выпустило первую мою книгу. Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. В России нет литературной провинции.

Капа была святая.

Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко посадила русую косу, уложенную вокруг головы венечановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как сдвоенные длинные основные иглы.

Дома у нее было шаром покати.

Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, поднимая за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких,

как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе: В ней выпрямилась судьба нашей земли, которая не согнулась прежде, которая не гнется и в сегодняшних тяготах и высоко несет свой русский венчик.

Когда вышла «Мозаика», грянул гром. Это была пора перегибов, которые потом называли волюнтаризмом. Позвонили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы». Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее отстранили от работы.

Капа, прости меня.

В тот момент в «Неделе» шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Спустя некоторое время вмешалась справедливость. Капу назначили главным инженером типографии, даже повысив оклад. Последний раз я видел ее во Владимире, когда мы приезжали играть «Поэторию».

Ее золотой венчик, сплетенный, как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами. Когда Зыкина под колокола пела «Мать Владимирская единственная...», она поклонилась Капе.

«О» — это вздох, кислород языка.

⊙ валами антоновки тяжелела яблоня. Ее прогибающиеся ветви дедушка подпирал рогадинами.

Она стояла за домом, против рассвета. Каждое утро из-за спины силуэт ее омывался сиянием. Сквозили лучи в косую линейку. Силуэты яблок были обведены сияющими ободками, как прописные буквы «О» с нежным нажимом, будто утро учило чистописанию,

Из-под одного яблока змеился червячок, как незнакомая еще мне «Q».

О моя первая учительница письма! Тысячи лет назад в ином саду другая первая учительница, робя, протянула сияющую овальную букву, с которой начался род человеческий.

Наливалось дерево языка. Вначале было слово, не имеющее формы. Человек свято и греховно сотворил форму для слова, создав кириллицу, рисунок, скульптуру.

Мне снится, как мне снится золотое дерево языка! Оно растет сквозь меня, всасывая мои соки, оно прорастает сквозь мою жизнь, шумит кроной надо мной.

Крона языка — моя навязчивая идея. Мне хочется на какой-нибудь площади поставить монумент языку. Это будет памятником ушедшим великим словам — «не лепо ли ны бяше, братия», — будет вечный огонь живого слова. Там сольются поэзия и архитектура. Как колокола, будут раскачиваться золотые «А», сережками будут звенеть «С», фыркнет филином «Ф», будут наливаться винные гроздья «О», — крона должна быть золотой, слегка качаться от нагреваемого воздуха, от света, человеческого дыхания.

● тлитое на родине Гефеста из сплетенных букв, осуществленное благодаря магии Зураба Церетели, меднолистое Древо языка покачивается над Большой Грузинской.

Буквицы везли через всю страну по одной-две в пятитонных МАЗах. У них расходились швы на ухабах. Они были закинута навзничь, как азбука для слепых. Великое небо, подобно слепцу, ощупывало их дождями, зноем, утренними лучами и сумерками. Одна машина испарилась. Последний раз ее видели в Ростове. Не там искали! Она, наверно, нашла свои иные речевые пути, пристала к стае. Ес надо теперь искать на перепутьях «Задонщины» и «Слова о полку Игореве»!

Буквицы монтировали краном, подвешивая их на двух тросах. Зураб в неизменном синем

автозаправочном комбинеzone на двух лямках походил сам на небесную буквицу, поднятую за плечи. Он летал над площадкой. Для жизнеописания фантастической судьбы Зураба нужна бы кисть Бальзака!

Среди монтажников вы сразу выделяете медный, оттянутый книзу пушкинский профиль и русые кудри Алексея Кузьмина, его артистическую ладонь и насмешливую развалочку. Некая искра связала нас. Приходя на стройку, я чувствовал на себе его взгляд. Он обучил меня перехлестывать страховочную веревку с замком, облачил в прозодежду и пластиковую красную каску. Когда я залезал на верхнюю площадку, он неизменно, как бы шутя, подстраховывал меня.

На сорокадвухметровую высоту Речи ведет узкая лесенка с редкими перекладинами, типа пожарки на 14-этажном доме. В первый раз вы взбирались в открытом пространстве, на воле, пробирало свежестью. Впоследствии, когда панели вокруг смонтировали, путь оказался тесным душным лазом. «Остороженько, сейчас будет отсутствие перекладины, — распевно подсказывал под вами Кузьмин. — Покачивает, чувствуете? Поэтому у нас морская прозодежда — роба и штаны матросского пошива».

Снизу кто-то подсматривал за вами. Поблескивала черным глазом скважина колодезного дна. Знакомая тяга была в ее взгляде. Между вами и ею был Кузьмин.

Покачивало. Тишинский рыночек относил в сторону, он как бы отлетал, отплывал налево, потом совсем исчез из глаз, став историей.

Как пронзительно свежо на верхотуре Речи! Как свежо, захлестнувшись веревкой за сварной уголок, греться, словно на железной печурке, на горячей от солнца букве Т, свесив ноги над утреннею Москвою!

Внизу, уменьшенная высотой, как свернувшаяся зеленая гусеница, надувалась, готовилась к взлету буквица венца. Ее покрывали сусальным золотом, прикрыв от дождя прозрачным тентом.

Как и слово, медь с годами меняет окраску. Из красновато-золотой она становится малахитовой. Там,

где должны быть виноградные листья, венец покрывали особым раствором, ускоряющим процесс зеленыя. По химическому составу раствор этот схож с мочевиной. В дневниках старых мастеров мы читаем, что они подмешивали мочу в акварель для придания живописи вечной гаммы.

«Смешав в одно земную низость с самым высшим — с звездами дно...»

Впоследствии от городской загазованности, от времени, истории все медные буквы монумента примут этот цвет. Так стихотворение говорит на языке будущего, притягивая за собой весь речевой состав.

Естественно было залезть на верхнюю площадку, как матросы на мачту, по-человечески цепляясь руками за перекладыны ступенек. Но мне хотелось пройти путь буквы, понять, что чувствует буква, когда ее поднимают за шкирку стрелой крана. Моей голубой мечтой было подняться на кране.

Я договорился с Быченковым, вожакон монтажников, и крановщиками. Быченков обмозговал особый вид крепления.

Утром на пустынных столах Тишинского рынка расставляли продукты. Везли ящики черешни. Кто-то непроглядный прятался в бочке. «Дура ты, дыра, — весело думалось мне, — таись, колдуй, злобствуй, а я сейчас буквально стану буквой, сам взобьюсь в небесную субстанцию».

Бочка обиженно промолчала, но, как мне показалось, насмешливо. Это меня насторожило.

Увы, никто из моих приятелей не явился в назначенный час. Пряча глаза, с лицами, опухшими от раскаяния, они проскользнули через час позже на свое рабочее место. Оказалось, что Зураб ночью прознал про наш сговор и все категорически запретил.

Я оглянулся на бочку. Она катилась куда-то как ни в чем не бывало, как будто не имела к этому инциденту никакого отношения.

Кузьмин утешал меня. Предлагал подвеситься на десять метров для ощущения. Это было несерьезно.

И вот мы снова с ним по-человечьи лезем железной лесенкой. Упрели. Жаль, но особенно я не сокрушался. Так я не стал буквой.

Вес кольца был за пределами подъемного крана. Стрелу крана надставили и несколько раз репетировали, подвесив кольцо в небо, и замирали на нужном уровне.

Небо, как часовщик, этой вставленной в глаз луной разглядывало нас. Потом кольцо укрепили конструктивной крестовиной, и оно застыло в небесах, будто буквица, которую написали, а потом вдруг решили перечеркнуть пакрест.

Ослепительные дни. Стремительные дожди.

Венец показывал характер. Тучи, как щеки, гневно надувались над Большой Грузинской. Зеленые губы округлились посреди неба, как открытый ужаснувшийся рот. Безмолвное досель небо обрело голос. Губы склонились к гигантскому качающему медному кларнету. Боги, боги, мы содрогнемся от музыки той!

Подъем венца был апофеозом стройки. Люди обнимались, плакали, вопили. Из неба летели искры. Алексей Кузьмин с товарищами доваривал устои венца.

Над нами застыл навечно голубой нимб Осуществления, в нем был вздох людских надежд, трудностей, победа человеческого духа, два века отечественной истории, преодоление притяжения, небрежная безуминка Кузьмина. Когда спрашивают, что для меня значит буква «О», — я молча киваю на эту небесную буквицу.

Осуществилось. Монумент поставлен, крепкими корнями втянувшись в смысл земли. Но почему Образ речи не отстает от вас? Что-то продолжает тянуть.

Я вглядываюсь в Образ. Это не совсем уже дерево. Я не вижу ствола. Какой же ствол у языка? Я понял — это должно быть Облако. Наши жизни, испаряясь, превращаются в золотое Облако языка. Золотое Облако будет парить над площадью.

Как решить это конструктивно? Надо бы проконсультироваться. Консоли или ванты не годятся. Облако не может быть подвешенным. Мощное силовое магнитное поле лучше, но магнитные колодки будут портить вид. Да и дорого. Я думаю поставить облако на воздушную подушку. Ведь есть же кораб-

ли, поезда, да и танк на воздушной подушке, она выдерживает. Облако будет стоять на четырех столбах из сжатого воздуха. Один пониже — по центру, — три наклонных воздушных столба с боков будут удерживать облако от смещения. Сквозь подрагивающий воздух будут просвечивать деревья парка, будто на площади стоит вечно дрожащая золотая осень.

Материалом, думаю, должна быть опять медь. Титан холодноват. Никель слишком шикарен. А может быть, спрессованный свет? Конечно, в идеале было бы взять купольное золото, это было бы торжественно и светоносно, в зеркальной поверхности отражались бы жизнь, люди, облака — язык же живой! — и по городу дрожали бы зайчики — золотое Облако языка.

Я беру подрамник. Забиваю с обратной стороны гвоздики для лески. Замешиваю крутой клей из ржаной муки. Мочу в ванной широкий рулон бумаги, натягиваю, прижав поплотнее углы, гляжу, чтобы не было складок. Оставляю горизонтально — вялой мокрой простыней.

Рано утром гляжу — как празднично натянулось! Упруго, но податливо, а не туго, как барабан. Бумага дышит.

Так бог без единой морщинки натягивает за ночь снежное квадратное переделкинское поле и крышу над нашей халупой.

Проверив леску, натягиваю свежеструганную горизонтальную рейку. Провожу первую линию. Она звенит как струна.

○ держимость только может оправдать обучение в Архитектурном институте.

Читатель, знаете ли вы, что такое ионики?

Конечно, вы знаете, что это архитектурная деталь яйцеобразной формы, принадлежность ионического и, конечно, коринфского стиля. Они примостились в центре ионической капители, будто некая божественная и коварная птица снесла три белых яйца между рогов ионического барана. По форме они

странно напоминают оники, как в старину называли букву «о». Даль приводит поговорку: «Брюшко оником, ножки — хером».

Давайте нарисуем с вами хотя бы эти три ионика.

По форме они не круглые, а сужаются книзу. Их не вычертишь ни по линейке, ни по лекалу, ни циркулем — только от руки. Один должен идеально походить на другого. Их рисуют от руки, через кальку, зачернив обратную сторону грифелем, слегка продавливают легкий контур, а потом обводят острейшим, самым твердым карандашом «6-НН». Постоянно замеряют точки измерителем. Вы уже устали, читатель? ooo

Но их надо нарисовать целый карниз — три тысячи микроскопических, каторжных, лукавых яичек. Доцент Хрипунов будет злорадно проверять каждый из них. В Камероновской галерее, которую я вычерчивал, их было несколько тысяч. Легче почистить двадцать ведер картошки, обстругав ножом овальные клубни, как приходилось во время дежурств в солдатской кухне.

Нет, вы не знаете, что такое ионики!

**О**крестил я его «Поэтархом». Проект представляет собой металлическую золотую сферу. Она символизирует человеческую культуру, сферу языка. Она поддерживается, как столбами, тремя потоками воздуха, подаваемого из трех компрессоров. Поток воздуха, огибая шар, поднимает вибрирующие тросы со звучащими буквицами мировых языков.

Испытание модели в Крымской обсерватории показало, что тросы от потока воздуха слегка прогибаются внутрь, являя собой подобие лепестков цветка репейника или шарообразной струнной арфы. Их магическая точка пересечения находится в бесконечности.

Основание шара отягощено грузом по принципу игрушки «Ваньки-встаньки».

Диаметр шара равен 25 метрам, то есть шести-семиэтажному дому. Его пропорции соотносятся с



размерами земного шара. Наш глаз инстинктивно ищет соотношения с размерами Земли. Не случайно, например, купол римского Пантеона представляет одну миллионную длины земной окружности. Человек осознает себя частью общего.

Монумент мог бы передвигаться из города в город, из страны в страну, ритуально символизируя мирное единство человеческой культуры.

Конструкция сферы проста — то, что называют в архитектуре «сеткой Фуллера». Внутри сферы может расположиться зал для поэтических чтений и музыки. Мы сможем внимать музам, покачиваясь на воздухе. Шар — идеальная форма для зала. Нижняя часть его служит амфитеатром, верхняя — куполом. Надеюсь, что вам, мой читатель, доведется быть среди первых слушателей и посетителей Поэтарха.

На телепередаче «Москва — Космос — Калифорния» я показал его через океан. Золотой бок шара вылезал из-за горизонта.

Опаздывая, я шел по знакомой лесной дороге. Я знал, что сейчас будет подъем и поворот и слева ориентир — сосна с могучей веткой на уровне двух человеческих ростов, почти достающей дорогу.

Из-за поворота появилась сосна. Но что это?

На ее груди щемяще и драгоценно блистал прикрепленный золотой образ богоматери. Он стоял на полочке.

Приблизясь, я понял, что это такое. Ветку выдрали, как вырывают руку из живого сустава. Образовалась овальная свежая древесная яма. Среди багрово-темной коры она сияла, как молодое золото.

Волокна по диаметру образовывали подобие нимба, оклад вокруг плеч. Дыра темнела, принимая женский силуэт. Крупные слезы смолы горели в вечернем солнце. Слева вниз бежала застывшая белая, как соляная, дорожка. Снизу сук был подрублен топором, что и дало резкие отщепленные линии обрубка, которые создавали впечатление деревянной полочки.

Она, видно, разрослась и хлестнула по машине. Ее, видно, вырывали с мясом и подрубали, став на кузов. Мне стало стыдно.

Так образуется дупло-о-о.

«**О**тсоедините, пожалуйста, девушка! Кто-то подключается. Нет, это не бюро обмена. Я просил Тбилиси. Алло, Скульптор, ты слушаешь? Ты можешь вылепить руку? Да, принялся за старое. Помнишь, мы хотели сделать памятник Нонешвили? У меня есть идея. Скажи Медее. В его жизни, в его маленьком лице было трепыхание струи, этот трепет самоотдачи многим даже казался суетным. Его рукой Грузия положила цветы на гроб Пастернака. Я спроектировал питьевую струйку. Она бьет из белой пригоршни. Сквозь пальцы вода стекает в крохотный бассейн, образованный его лежащими грузинскими ипиццалами. В Тбилиси жарко. На кладбище все хотят пить. Вода драгоценна. Он жил, чтобы его пригубили. Я думаю, из мрамора. Или из органического стекла. Кроме того, у меня есть идея Облака...»

Отключили.

**О**тряхнув пыль с ботинок, блудный сын архитектуры, уставший от пустопорожних дразг непоправимой жизни, я припаду к квартирной двери с табличкой «Л. Н. Павлов».

Давние годы отворят мне. Они ни о чем не спросят. Да и я ничего не скажу.

По лицу Павлова плавают свет. Павлов — Человек-сиянье. Сказать, что у него глаза как синие плоски, — ничего не сказать. Его загорелое, широкой лепки лицо закинута, как пригоршня голубой родниковой воды. Он ходит, поднимая голову к небу, чтобы не расплескать взгляда.

Да вы совсем не постарели, Леонид Николаевич. Плотные плечи обтянуты полотняной рубахой с черными подковками, горохом разбросанными по ткани. Снежная копна волос, закинутых назад, похожа на белого сокола, свесившего одно крыло перед полетом,— Леонид Николаевич, милый, кумир, творческая совесть моей архитектурной юности!

Взгляд обволакивает вас с сожалением и прощением.

Тут я понял, как я влип, на какую муку приперся сюда. Но Человек-совесть уже отобрал мой плащ.

Со стен на меня глядят гениальные укоры его холстов. Павлов идеи своих сооружений сначала пишет маслом на огромных холстах. Грифель и даже уголь слишком немощны, чтобы передать идею. Нужно масло, цвет.

У окна на полотне на плотном горячем фоне стройно испаряется вертикальный серебряно-белый объем, поперечными мазками похожий на ствол березы. К нему прижался черный куб, как кубический клубок шерсти, записанный плотными, непроглядными курчавыми мазками. Неизъяснимая нежность прижимает их друг к другу.

— Это моя мадонна с младенцем,— волнуется Человек-совесть.

— Береза родила Пушкина,— улыбаюсь я.

— Это идея Вычислительного центра в Иванове. Черный ларец — хранилище информации,местилище человеческого гения. Это объем без окон и дверей. Я хочу записать его плотно, по черному, как Палех или флорентийская мозаика.

Я гляжу и думаю: «Что же ты какая-то прямоугольная вся стала, для маскировки, что ли?»

Он со сладострастным садизмом протягивает слова «флорентийская мозаика», «объем», а сам смотрит на меня. Человек-совесть, и все это звучит в подтексте: «Как могли вы это бросить, прельститься, ухильнуть за химерой, я так поверил вам тогда... Но вы все же устыдились, потянуло, приползли на исповедь... Что ж, казнитесь...»

Человек-совесть подводит меня к костру. На соседнем холсте, как языки пламени, качаются крас-

ные, золотые и черные узкие треугольники. Треугольник — это бунт, разрез, антиовал.

— Это пламя я хотел поставить в Плая-Хироне. Монумент из пламенных треугольных высоких пирамид. Когда зритель обходит вокруг треугольных пирамид, происходит оптический обман, их вершины смещаются, и зрителю кажется, что пирамиды качаются.

Черные, красные качающиеся языки пламени шуршат: «Вечным студентом носитесь по свету без точки опоры, что соблазнило вас — громкая слава? Я не так примитивен, чтобы думать, что вы прельстились монетой, но есть искус тщеславия стать гласом народным — а далее, может быть, божьим? — есть искус пострадать, стать черной дырой. Зодчий умирает в каждой вещи, остается в вечности, и это, соизвольте согласиться, тщеславие куда более высшего порядка, так сказать, стратегическое...»

Я пытаюсь защищаться, я выхваляюсь, что мои рисунки куплены нью-йоркским Музеем современного искусства, я трусливо плачусь в жилетку, что в мастерских мне давали проектировать лишь лестничные клетки и санузелы, а в стихах я продолжаю архитектурные принципы, я слышу, как моя мысль взвизгивает до визга: а другие отступники архитектуры? а им можно? а Архипова? а Данелия? а...

Я решаюсь на запрещенный прием, я думаю: «Ну ладно, это все грезы-прогнозы, идеи, а что же вы сами в жизни сотворили, совесть-мечтатель, поставщик идей, Андрей Белый отечественной архитектуры? Что вы осуществили в жизни, в крупнопанельной решетке нашей действительности?»

Я вижу, как на фотографии строится, обретает бетонные очертания над лесами и полями идея Автосервиса. Отверстия сверху напоминают фары. Раскинув бетонные крылья, он парит над частниками, мотом ремонтников, магарычом, управляя их дозой красоты.

Павлов гасит победную усмешку. Здание Автосервиса он строит на пересечении Кольцевой и Минского шоссе.

Он строит его там, напротив мотеля, как бы специально для того, чтобы я, ежедневно проезжая из Переделкина и обратно, вжимал голову в плечи, воровски шмыгая мимо его бетонного укора. И вслед за мной по пятам будет лететь над шоссе не Медный всадник, а страшный парящий бетонный укор моих юных лет!

На следующий день, 1 июня, я отправился на Минское шоссе. Я мстительно надеялся на строителей. Вдруг они перекосят всю идею и наваждение не состоится. В противном случае надо было менять место жительства.

Светло-серая степка Автосервиса стояла на горе, вся на фоне ясного золотистого неба. В пейзаже горизонтальным рядом четыре еще не застекленные циркульные дыры. Есть такие хранилки для монет, изготовленные из светлого металла, с круглыми дырами, куда утапливают монеты. Их любят таксисты. Автосервис походил на такую хранилку.

И что поразительно! Солнце садилось точно за Автосервисом. И золотой диск его был точно такого же диаметра, как дыры. Как это удалось рассчитать зодчему? Или солнце, полюбив его (что там овцы!), подгадало место для заката и выверило размер? «И в ту дыру, наверно...» Было пять одинаковых кругов—четыре черных, как затмение, и одно золотое.

Солнце помедлило над ними, поразмыслив, потом раздумало и на этот раз закатилось за горизонт.

Потомственная «белая дыра», Павлов не выносит рефлексирующих «черных дыр». Даже темные ниши в своих домах он расписывает. Цвет съедает тень.

Он что-то чувствует, он подозрительно принохивается ко мне, во время разговора приближая лицо, как милиционер якобы невзначай наклоняется почти вплотную к водителю, чтобы узнать, не пахнет ли мерзкой черной дырой.

Искушение продолжается. Павлов вдруг хорошеет.

— Это моя любимая вещь — вещь жизни.

Так говорят о женщине. Он достает заветное фото. Это очень откровенное фото. Идет пылкая

стройка. В строительном ритме есть поспешность объятий. Человек-совесть волнуется, ревниво сопит. Мне даже неловко смотреть. Наконец леса сброшены и два спокойных, огромных, плоских квадрата остаются парить в воздухе.

Москвичи знают это плоское здание, как заслопка замыкающее Ломоносовский проспект. Это здание — Ухо. Посредине его как на пластиковом стенде повешено скульптурно-мозаичное ухо с огромной дырой. Пушкин гениально дал жизнь отрубленной голове. Гоголь отрезал нос, а Павлов поставил памятник Уху. Оно обращено к Черемушкинскому рынку. Там царит хаос буйной речи, хруст овощей, цветастых словес, пестрота и неорганизованность форм и страстей, разгул стихии, где Восток дынь встречается с Севером морошки, где дольки чеснока хранят от гриппа и вампиров, где молодая картошка в конце мая стоит двенадцать рублей, а телятина — семь рублей, где в углу справа лучшие розы в Москве, где бушует вакхапалия расчета. Контрастируя с ней, два стройных квадрата Вычислительного центра напоминают о вечности и гармонии.

Когда Ухо улавливает особенно сочные изречения, оно мозаично краснеет, как в консерватории (если вы заметили, сидя сзади) краснеют от наслаждения уши меломанов, уловивших гениальную ноту.

— Да это никакое не ухо, это лента Мебиуса, — доказывает Павлов. — Это скульптурно-философская восьмерка, говорящая о бесконечности пространства, с почти муровской дырой посередине. Это глаз в нутро магери-природы. Я придал ему размер — одна миллионная диаметра Земли. Это магический модуль моей вещи. Все детали кратны этому числу. Поэтому вас и тянет к пропорциям этого квадрата — инстинктом человек чувствует соразмерность с Землею.

Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху. И, завидя его, приветственно шевелятся уши горожан.

Но Павлов настаивает:

— Поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов...

Но подтекстом звучит: «Изменщик! Неужели вы можете въезжать в города, ходить мимо прекрасных зданий, не мучаться? Неужели вы не ревнуете к создателям? Вот они стоят, возлюбленные вашей жизни. Вы их отдали другим. Архитектура была не пустяком для вас — вы вкладывали страсть в нее. Ее статная чувственная античная линия была линией вашей жизни. Как вы можете жить теперь, зная, что она несчастлива в чужих воровских руках, что кто-то другой лепит ее, заставляет принимать уродские наглые позы, а если она счастлива с кем-то — это же мука двойная! Вы любили ее, вы и сейчас ее любите, я-то знаю. Как вы могли, Андрюша?»

Он отроком прошел школу иконописной страсти Мстеры, потом подвижнически учился в кельях Вхутемаса у Весниных, Леонидова и Митурича, потом был художником у неистового Мейерхольда, тот, ошеломленный его небесным взором, уговаривал его сыграть Чацкого, но юноша не изменил архитектуре. Он работал с Маяковским и Шостаковичем. Дружил с Туполевым, который, как и Ильюшин, прекрасный рисовальщик, учился во Вхутемасе. Дочка Павлова, Капля, которая сейчас поступает тоже в Архитектурный, звала того дедушка Ту. Русская культура с синеглазой сокрушенностью смотрит на вас.

Такая боль в вашем сердце, такая беда.

**О**днако Человек-совесть понимает, что перегнул. Он лучится радушием, он называет вас Андрюша, как зовут вас лишь домашние.

— Вы, кажется, у Мура недавно побывали — как там его овечки? — ластится он со счастливой завистью.

Его самого давно подбивало построить что-то для «братьев меньших». Его жена Лиля, тоже художник, миниатюрная, как лукавая искорка в глазах, за-

гадочная, как персидская миниатюра, и лучшая в Москве кулинарка пиццы, будучи в Англии, посетила Мура.

— В каком году это было, Лиля? — кричит он, приложив ладони к губам.

— В семьдесят третьем, — отвечает Лиля из Веймара. И добавляет: — Синеглазый такой старикашка...

— Она у меня в Веймаре сейчас, в командировке, — поясняет Павлов.

Он не знаком с Муром, но художники обходятся без виз и обмениваются визуальными мыслями. Павлов счастлив, что собрат его понят овцами. Сейчас Москва стремительно расстраивается. Лесные просеки становятся улицами, вольные рощи и поля — площадями. Обманутые генетической памятью, в наши крупноблочные клетки то лось забредет, то пыльная смятенная лисица, то волк-шизофреник.

Ночами над белой поленовской задушевной церквушкой, ставшей складом, за Круглым домом безумствует семья соловьев. Они поют на краю бывшего Ведьминого, или Троицкого, оврага, который некогда зарастал бурьяном, черемухой, убийствами и любовью. Отчаянные головы заруливали сюда, а барышни с замиранием сердца прошмыгивали мимо.

Гонимые непонятной памятью, неистребимые гениальные пигалицы, зачем они прилетели из незапамятных далей своих в глубь Москвы, зачем они выводят свои самоубийственные колена над ржавыми жестянками гаражей, остывающим асфальтом, желтым пивным ларьком и мстительными прожорливыми желтоглазыми дворовыми кошками? Зачем смущают захмелевших горожан?

Открывают окна, стихают свары, просветляются алкаши, слушают.

Соловьев прорва этим летом. Они заполонили Переделкино, они изнемогают в заглохшем саду между пастернаковской и ивановской дачами. Грибное лето, говорят, к войне. Соловьиное, наверное, наоборот. Соловьи газет не читают, но знают что-то свое. Хочется им верить.



Останавливаются машины. Шоферы глушат разгоряченные моторы. Выходят. Слушают.

Меня не оставляет ощущение, что я прощаюсь с Переделкином. Фото прошлого лета, когда писалось «О», я вставил в этот трехтомник.

Стоит черемуховый жужжащий июнь. Открытые павловские окна затянуты белой марлей, чтобы в комнату не залетели маленькие черные дыры, разносящие микробов, и другие — ноющие крохотные кровопийцы.

Вдруг, метко глянув, Павлов сбивает мухобойкой черную мохнатую точку, приблизившуюся к нашему разговору.

Тут вы чувствуете, как свет будто отключается от вас. Иной огонь загорается в Павлове. Его мозг, наверное, уже мастерит не то беседку-консерваторию для соловьев, не то лежбище для лосей из рваного камня, не то волчье логово-кемпинг.

Он уже машинально берет медный пропорциональный циркуль золотого сечения.

Природа вся задумана в золоте. В золотом сечении убывают расстояния между ветками деревьев. Венец создания создан тоже в убывающей пропорции. Когда-то Ле Корбюзье нарисовал на салфетке и подарил мне фигуру обезьяны в золотом сечении — свой основной принцип человечности. Продолжив ряд, он высчитал высоту жилья для среднего человека — два метра сорок сантиметров. Грубо говоря, это человек с поднятой рукой.

Человек-совесть спорит с механической теорией Ле Корбюзье. Он показывает мне руку свою:

— Видите, фаланги пальцев уменьшаются в золотом сечении, но если мы продолжим ряд на одно звено, то получим над рукой расстояние точно такое же, на котором слепцы чувствуют предметы. Это золотой энергетический ореол человека.

Это не помещается в потолок Ле Корбюзье. Отсюда гнетущее ощущение, что потолки давят. Павлов видит золотой ореол. По его расчетам, высота должна быть два девяносто пять.

Выпьем за золото! Павлов — великий бражник. Он наливает из графина водку, настоящую па кру-

пинках сусального золота. Я чувствую, как мои глотка и кишки покрываются горячей позолотой, как труба Армстронга.

Меня подмывает рассказать ему про проект золотого Облака, но никакие поддачи и попытки не развяжут мне язык. Это только мое. «Ни матери, ни другу, ни жене».

Но Павлов будто уже все знает. Он спокойно невзначай говорит:

— Вполне реальная идея — поставить архитектурный объем на воздушную подушку. Только надо разработать направление поддува. Держит же водяная пыль фонтана стеклянные шары. Ну а материал, думаю, все-таки медь. Медь как-то державнее. Хотя спрессованный свет реальнее и дешевле.

Рука мастера держит петровскую чашу. Отнюдь не страсть, не искушение толстовского о. Сергия, а сорок второй военный год отхватил фалангу его большого пальца, поэтому он не может больше играть на фортепиано любимого Прокофьева. Он проектирует здание около консерватории в виде клавиш — пусть играют облака и деревья.

Я гляжу на загорелую руку Павлова со светлыми выгоревшими волосками — золотую десницу великого творца.

Надоели бессовестные оптимисты-болтуны, надоело бесплодное брюзжание, оправдывающее свою творческую несостоятельность лозунгом: «А разве разрешат?» Я за породу творцов, ценой жизни — а другой цены не бывает — воплощающих свою идею. Совестьливо закатывать глазки и ничего не делать — бессовестно. Сделайте хоть что-нибудь!

Павлов лаеся с прорабами, покоряет идей в наше трудное время, а когда были легкие времена? Рукописи не горят — горят авторы. Даже если он не побеждает — он победил. Он сотворил. Творец — это совесть.

Смущенный и потрясенный, я внимаю ему. Несмотря на муку и стыд, душа моя, как тело, изломанное в турецких банях, ощущает некое обновленное просветление.

Внезапно Павлов сталкивает меня в воду.

○ кунаюсь «с ручками»!

Я бухаюсь во всем, в чем был, в брюках, в тяжелых ботинках. Брюки облипают холодом тело, стесняют движение. В уши забивается вода печали и недоумения. Карманы набиты тугой водой.

Рядом, фыркая, плывет Павлов. Он плывет сажженками. Он столкнул меня в идею своего водного театра. Облипающая его полотняная рубаха, намочив, стала прозрачной, и к его плечам и телу, как татуировка, прилипли темные подковки рисунка ткани.

— Идея на двенадцать тысяч мест! — кричит он, подплывая. — Строится сейчас в Измайлове. Театр фигурного плавания.

Вода пахнет не хлоркой, она пахнет горечью и разлуккой. Вот так, в облипших брюках, мы купались с тобой прошлым летом. Сухими оставались только медные пуговицы. Ты подплываешь. «Эй, в серых брюках, ноги, ноги отработывайте!» — в мегафон орет похожий на полуголого Пикассо тренер с другого берега.

Павлов уже освоился в воде. Он плывет, как на матрасе, на своем плотном сиянии. Его волосы уже просохли, стали рассыпчатыми и пушистыми. Подсинивает он их, что ли?

— Театр плавания — новая идея. Дитя спорта и искусства. Муза для миллионов. Примерно то, что вы сейчас пытаетесь делать с Паулсом. Сквозь окна в брюхе бассейна зрители могут видеть действие снизу. Если вы ныряете, то видите зрительские лица.

Я ныряю. В зеленом свете я вижу на стенах лица под стеклом, как цветные фото на стенах, — я вижу Мурку, тебя, Пикассо, Рябинкина, Яроша, все они наблюдают за нашими жизнями. Дыхания не хватает — вынырываю.

Помню, в Лионе во время постановки «Макбета» сцена постепенно заполнялась водой. Уровень воды подымался с уровнем преступлений. Последнее действие герои играли по подбородок в крови.

В заключение воды Вечности смыкались над ними, только маленький пузырек чьего-то дыхания

всплывал, как крохотное «о», размером с игольное ушко.

Мы плывем в водах истории и разлуки, Павлов! Спасибо за крещение! Сквозь гигантские сквозные дыры-иллюминаторы под потолком, выходящие на фасад, видны белые облака, ветряные верхушки деревьев и крыши нашей земли. Их относит назад. Мы отплываем, Павлов!

Трибуны начинают заполняться людьми. Хлопают стулья. Я чувствую дыхание, волнение, энергетическое поле судеб. Оно имеет форму гигантской чаши. Чаша дышит.

Это живая форма, самая волшебная из архитектур, мой Павлов! Мы ей принадлежим. Мы в пей растворяемся.

Сквозь волны истории и музыки, захлестывающей нас, проступают полуголые торсы.

Павлов сидит в кресле десятого ряда. Он уже просох совсем. Только под ботинками остались мокрые лужицы. Соседи думают, что это от дождя. В моих ушах, как погремушка, шуршит забвенная вода разлуки.

Павлов пришел на оперу «Юнона» и «Авось». Белые волосы Павлова касаются плеч. Они похожи на парик резановских времен. Его лицо бронзовеет, как державный бюст. Он похож на персонажей действия. Зрители думают, что он подсажен.

— Как прекрасно, что нота торговых связей России и Америки звучит в стенах бывшего Купеческого собрания! — ахает он. — Какая музыка! А пластинка скоро выйдет? — И рассказывает, как оформлял «Выстрел» у Мейерхольда, где глубина сцены была всего шесть метров.

Он продолжал рассказывать это домам и вечерним улицам Пушкинской, то есть Страстной, площади, когда мы вышли.

Но странное дело! Чем белее колонны, чем выпуклее и оптимистичнее был мир, чем меньше я вспоминаю о тебе, тем явственнее твое присутствие. У меня мелькнула даже догадка, что оно активизируется в присутствии Павлова.


Раньше, когда мы гуляли с тобой, ты вдруг сбегала и пряталась от меня, Я терялся, бегал, звал:

«О-о-о», вызывая сочувственные взгляды прохожих. Иногда ты пряталась на фоне ночного неба. У меня затекала шея выглядывать тебя. Твои излюбленные прятки были на фоне Большой Медведицы. Ее звезды тускнели, закрытые тобой, а крайняя, не закрытая тобой, лупила как ни в чем не бывало. «О!» — удивленно вопил я и тыкал в небо пальцем. Ты, заждавшись, спрыгивала ко мне. То-то было радости!

Вот и сейчас. Мы идем с Павловым. Низкое небо полно звезд. Вдруг я замечаю, что Большая, да и Малая Медведица и три пушкинских фонаря под ними тусклее других. И это не добрая тусклость, а какая-то напряженная, колючая.

Павлов что-то сечет, он смешался, прервался на полуслове и круто свернул к метро. Он шел в сгущающихся сумерках толпы. Набежал московский ветерок.

Павлов уходил на полных парусах своих белых волос.

днако нам пора продолжать поездку. Усадьба Мура находится в полутора часах от Лондона. Но мы, выступив в лондонском «Раунд-Хаузе» («Круглом театре»), даем круг по всей стране с выступлениями и через озера добираемся до Мура.

О чем я думаю, откинувшись в растущую скорость автомашины и одновременно с нею стремительно нарастающую скорость сумерек?

Сумерки — растворенная черная дыра. Твой взгляд обволакивает меня. Он все сильнее и глуше обволакивает происходящее и предметы.

Хочу реабилитировать сумерки. Напрасно ими окрестили эпохи упадка. Люблю сумерки. Это самое волшебное состоящие души и суток. Это напряжение духовных сил, ощутимое волнение движения времени, это творческий взлет мысли. Сумерки диктовали лучшие ноты Чайковскому и Блоку.

Может, сейчас сумерки века? Шестидесятые годы были хребтом столетия. Они были высвечены

прожекторами, отсветом ипых веков, их судьбы были выпуклыми, яркими. Может, сейчас время перехода, ожидания культуры, творческого наращивания?

Пронесется осы фар, удлинённых скоростью. Левостороннее движение сообщает странность мыслям. Проплывает Эдинбургский замок. В студенческие годы я был пленен его необычайной, даже для шотландских замков, красотой. Гигантская скала незаметно для глаза переходит в стены, контрфорсы, башни, как бы сама кристаллизуясь в них. Это единый комок скульптуры. Я много раз рисовал его, пытаюсь разгадать загадку зодчего. Будто гигантская рука смяла сверху скалу как бумажный пакет — и получились вмятые складки замка.

Несколько рисунков белым по черному я дал Пастернаку. Один из них он подарил своей музе, и рисунок застекленно висел в ее комнате. Из мерцающего приемничка машины доносится старая арфовая музыка, видно модная в этом сезоне. Она уходит к эпохе Оссиана.

Отчего музыка эта отозвалась в угрюмых генах отчаянного поручика Тенгинского полка? Отчего люди тратят единственную жизнь свою, жертвуя карьерой, семьей, бытом ради сложения звуков, называемых по простоте душевной небесными?

На дороге, на стенах домов, на спинах прохожих белеют мелом нарисованные круги — эмблемы антивоенного движения. Это движение непредсказуемо, оно вырвалось как из-под земли, став самым массовым и живым в Европе сейчас. Их мессия посетил меня в отеле в минуту возвращения от Мура. Утопая в кресле бара, он просматривал очередную разносную статью о себе в «Гардиан». В соседнем кресле валялись авиамешок и плащ — немудреный его скарб земной перед отбытием в небо. Через четыре часа он улетал в Гамбург на митинг за разоружение, печальный рыцарь антивоенного движения. На его выступления собираются десятки тысяч.

Разговаривая, он машинально стряхивает непослушный пепел темно-серых волос. Под его глазами тени мировой культуры, в фигуре чувствуется спортивность и усталость английского аристократизма. Его питомцы рисуют на асфальте белые круги с

четырьмя радиусами. Эта эмблема похожа на белый автомобильный руль. В сумерках кажется, что дома, деревья, дороги, вдруг став автомашинами, движутся сами, обретают движение. Белый руль хочет, чтобы дома и деревья обрели безопасное направление, стали управляемыми, не улетали в пропасть. Все философские вопросы, мучившие род людской, слились впервые во всеобщий вопрос — жить или не жить жизни вообще?

Куда несется мир, куда?

Поэт наиболее национален, он весь в языке и в то же время связан с мировой культурой и разумом. Пушкин, русский гений, чувствовал близость с Байроном. Даже сейчас, в миг мирового разлада, поэты соединяются в общий круг. Самая русская буква «о» — одинаково общая для всех европейских языков. А заокеанцы даже поднимают пальцы в виде «о» в знак одобрения. Поэты узнают друг друга по взгляду.

Острым грифелем на переделкинской двери нацарапано: «Габо». И далее адрес в Мехико и телефон. Это приезжавший в гости Габриель Гарсиа Маркес начертал свои координаты.

Маленькое «о» маячит на уровне глаз, словно дверной глазок. Если припасть к нему, то сквозь смутное время вы увидите нашу задымленную комнату и одетого в военизированный френч пыльного колумбийца, тогда еще не Нобелевского лауреата, который, как от огнедышащей головы, отшатывается от напора российского мыслителя Ю. Карякина. Они спорят о Достоевском. Причем именно Маркес шпартит наизусть цитаты русского гения.

Общение с Маркесом подарил мне Неруда. Его страстью было дарить.

В 1973 г. после моего вечера в парижском «Эспас Карден» Неруда закатил званый ужин. За несколько дней до этого спросил: «Кого бы вы хотели видеть среди гостей?» «Маркеса», — выпалил я. «Он, увы, проживает в Барселоне». Неруда сочувственно, страдающе сморщил губы, будто сосал лимон.

На ужине же, распираемый счастьем, как добрый дядюшка, ошеломляющий щедрым подарком, с небрежной царственностью представил: «Вы, кажется, хотели Маркеса? Знакомьтесь. Он на сегодня прибыл из Барселоны». И завращал глазом.

Маркес был в бороде тогда, кажется, в белой неаполитанской рубаше, сухопар и горяч, сквозь белки его и нетерпеливые жесты проступала одна страсть — Революция. Он жил, чтобы избавить класс бедствующих от голода и нищеты. Он цепко слушал об ошеломляющем успехе его романа у нас, но, казалось, литература была для него вторичным.

Если опять следовать звездной классификации, то Маркес был активной «белой дырой», спрессованной энергией действия. Едва войдя в комнату, вы чувствовали его излучение.

«Давайте пообедаем завтра или послезавтра, поговорим вдвоем», — сказал он мне, заглянув в свой блокнотик. Увы, на завтра мне надо было улететь из Парижа до следующей среды. «Ну, тогда давайте в среду. Я прилечу из Барселоны». Привыкнув к щедрой необязательности своих коллег, я не воспринял это серьезно. Но вернувшись, я увидел Маркеса, спокойно ждущего в вестибюле гостиницы. Хочу подчеркнуть черту летучего быта этой породы людей, они вызывают самолеты как такси. Их день расписан по секундам на неделю вперед, как самолетное расписание. Их быт фантастичен и точен.

Пора обедать!

Приглашаю читателя в стихотворение «Художники обедают в парижском ресторане «Кус-кус». «Кус-кус» — название алжирского крестьянского блюда, вроде проса с подливкой. Было время сбывающихся надежд. И нам, правда, казалось, что на десерт подают мост Александра III. Шла обжираловка идей.

Когда Пиночет пришел к власти, Маркес объявил литературную голодовку.

Теперь ресторанчик «Кус-кус» на бульваре Сен-Жермен перекупили. Новый владелец сменил вывеску.

Это было последнее лето Неруды в Париже. Поэт был смертельно болен. Побледневший загар его



стал плотно-оливковым. Белки стемцели. Некая сгущающаяся тьма проступала сквозь кожу. Черная дыра в нем пожирала белую.

Он знал, что дни сочтены, и жил все щедрее. Пригласил меня приехать через два месяца и совершить с ним путешествие через океан в Чили. Он все еще любил делать подарки. «Я забронирую две каюты, будем купаться в бассейне на палубе, загорать, читать стихи. Потом отдохнем на острове». Мою заминку он расценил на свой лад. «Ах, вы не любите гигантские лайнеры? Они, и правда, вульгарны. Я закажу каюты на уютном суденышке».

Через два месяца в Москву на Союз писателей пришло приглашение с датой вылета и номером забронированной каюты. Увы, я не смог поехать. Некоторое время спустя разверзлись ворота небытия. Пиночет взял власть в Чили. Неруда умер под домашним арестом. Горе свое я выразил в стихах «Анафема», вспомнив ритм «Плача по двум нерожденным поэмам», который нравился ему.

Окутанный паром дыхания, я как-то брел морозной подмосковной скрипучей ночью. В кювете на боку лежала «Волга». Уже припорошенная снежком, она походила на птенца, выпавшего из гнезда, выбившегося из сил и притихшего.

Я провалился в сугроб, открыл дверцу. Во тьме проема кто-то спал — его грузное тело сползло от руля к дальней дверце. Я попробовал вытащить и поднять его — тело было неподъемным.

Неожиданно я узнал эти смуглые непробудные скулы. Они принадлежали таланту сильному, мускулистому, упрямому. Он прошел фронт и мировые бездны. Его раненого вытащил на себе Наровчатов. Мы не были приятелями. Когда он читал, покоряла недюжинная свобода интонаций, то есть судьба. Его губы были притянуты близко к носу, будто он принюхивался к кислому суетному быту после широкого ветра войны. Сейчас в нахмуренном трудном сне губы тянулись совсем по-детски.

«Волга» лежала против движения. Вероятно, сознание оставило его, когда он разворачивался, или он сбился с пути в непонятном мирном существовании, или хотел рвануть наперекор всему — кто знает?

В этот непроглядный час машин ни на дороге, ни на шоссе не ожидалось. Я дошел до гаража городка, добудился сторожа, потом мы подняли в теплой квартире из домашних снов шофера в заспанной майке. Тот для порядка поматерился, но воспринял все как естественное.

Вывернули колеса «Волги». Самосвал напряг трос, машина хмуρο дернулась. Как ей не хотелось покидать мягкое, снежное, холодное гнездо, вырываться из снов, дурмана, памяти войны, молодости — так душа и улетевшая жизнь хмуρο противятся воле реаниматоров, познав уже дикую угрюмую свободу, не даются тросу реанимации, который уверенно и неотступно тянет ее сквозь ирреальную дыру обратно в земное бытие.

Потом, встречаясь, мы никогда не заговаривали с ним об этой дороге, но что-то между нами произошло. Я частенько чувствовал на себе его особый тепло-карий взгляд...

Осипшие тормоза машины вырывают меня из грез российских воспоминаний. Возвращают, так сказать, к реальности, к прозе жизни.

— Приехали!

Разминаем затекшие ноги. Перед нами белая усадьба Мура. Круг замыкается.

Осторожнее, не потревожьте мастера! Мур невозмутимо лепит свои крохотные фигурки — час с вами. Круг кончается. Век кончается, а он все будто не понимает, зачем вы явились к нему и что пытаетесь спросить.

Он радушен к гостям, твой тайный крестный. Когда мы трапезничаем, он пересаживает меня на

другую сторону стола, откуда лучше вид на древний барельеф, подсвеченный на стене юпитером. Входит рабочий с хомяком в руке. Он, разговаривая, перебирает хомяка рукой, как свисающие живые золотые четки. Хомяк не всегда в восторге от этого. Об этом свидетельствует прокусанный палец. Мур хищно впицается в золотую изгибающуюся форму. И опять будто не замечает, что я, прощаясь, стою ссутулившимся вопросом.

Вместо ответа, что-то ворча под нос, он дарит свой рисунок. И сам упаковывает. Мол, дома развернете и все поймете. Закутывает в целлофан, прокладывает картонкой. Не найдя второго картона, отрывает обложку от альбома для набросков. Потом все аккуратно заклеивает скотчем.

○ ответьте себе, ну почему вы тогда не удержали ее?

«○ владайте всей полнотой жизни, обновляйте форму, держайте, — говорил мне Павлов, — но только не теряйте себя, не преступайте бездну, не вступайте в черную дыру».

Черная дыра стоит посредине моей комнаты. Ее взгляд открыт и ожидающ.

Я вошел в черную дыру.

Дант ошибся, описывая ее как безнадежный промозглый сводчатый коридор. Его ад — память. Его заставили забыть, что он видел, и вложили вместо этого ложную информацию.

Там нет ни времени, ни пространства. Все заполнено бескрайним внутренним голосом.

Ориентиром, запоминающим место, где я вошел, оставалось лишь висящее, как на вешалке, мое поношенное тело с изъеденным молюю затылком и выдавшим виды немодным носом. Было жаль расставаться с ним. Оно, удаляясь, уменьшалось.

Я продвигался, минуя воздушные ямы. В них томилась клочка сметенной энергии. Это были мученики памяти. Так в восточных деспотиях пытали, сажая на ведро с крысой. Бедное животное, чтобы вырваться наружу, проедало внутренности.

С краю бледный акселерат в бессчетный раз бил молотком по черепу своей матери. Страдалица, подняв залитое кровью лицо, молила: «Оставьте его, он не виноват, я сама ударилась».

Измученный юнец обернулся ко мне и, запыхавшись, спросил: «Новенький, что сейчас лабают на планете? Правда, что Чик приплюхал в Москву? Напомни мне «Пинк Флойда». Всю память тут отшибли».

Я напомнил. Он кивнул, как благодарят за затяжку, и вернулся к своему занятию.

Смеркающийся самодержец целовал отрубленную голову своей любовницы. Изнемогающего живописца терзали птицы с женским лицом и грудью. Тут мое зрение отключилось.

Звучал только голос. Но это была еще преддыра. Она была наполнена вопросом.

Вернее, голоса было два. Они задавали вопросы. «Что важнее — вера или предмет веры? Смысл жизни или жизнь смысла? Свобода или путь к свободе? Безграничность мысли или ограниченность земных ресурсов?»

Между вопросами струилась энергия. Она создавала города. Над ней радужно рассветали и испарялись цивилизации. Между вопросами возникали войны.

Меня спросили: «Ты хочешь знать Ответ?» Мне хотелось. «Но ты видел тех, кто пытался, кто преступил. Ответ дается ценой жизни». «Жизнь отдают за кило колбасы».

«А как вдруг, узнав, ты проклянешь себя? А как вдруг по этому Ответу твоя мечта окажется жабой? Царевна-то — склизкой лягухой? А дрянь окажется «величественней, чем Лев Толстой»? А вдруг своей извилиной ты не поймешь Ответа и будешь внимать лишь химере своего убогого разумения? (Как люди века молятся неверно законспекти-

рованному Евангелию.) А? А как вдруг, уже познав, ты сразу забудешь его?»

Я шагнул в Ответ.

Ясность Ответа поразила меня. Он вмещался в одно слово. Это творящее Слово пронзило счастьем все мое существо. Я познал, что моя жизнь осуществилась, удалась, но она уже не имела значения. Она слилась с Ответом. Я растворился в Слове.

Годы, века? — не знаю.

Но как-то, счастливо и растворяюще плывя в исторических пространствах, отдалившись к окраине, я почувствовал некую тягу вроде тайника, пустота которого простукивается в стене, или скрытого лаза. Я давно заметил это место. Это был тайник черной дыры, смущенная память, где она помнила то, что скрывала от себя.

Я увидел какую-то убогую комнатку с обшарпанным шкафом. Автопортрет хозяина, покосившись, прижимал отставшие обои. Света не выключали. Подслеповатая лампа склонилась, как над пальцами, над натянутым подрамником с запыленным эскизом какого-то золотого шара.

Форточка была безнадежно открыта.

Обернувшись вокруг, невдалеке снаружи я обнаружил мое висящее, довольно прилично сохранившееся тело. Я с трудом стал натягивать его. Оно село, покоробилось, оно не узнавало меня. Ноги жали. Ничего, разносятся!

Я раздвинул пошире скрипучую форточку и выпрыгнул в комнату.

«О-о-о... — обездоленно и бескрайне послышалось за моей спиной. — О-о-о...»

Ко мне бросился мир — горячий, карий, васильковый, щебечущий, русский, живой!

Автопортрет, не узнав меня, отшатнулся и вдавился в стенку. «Что ты давишь на психику?» — трясясь от страха, сказал он. Первый, кто узнал меня, был хромоногий стол. Он кинулся, визжа, по-собачьи уткнулся мне в живот. С покосившегося шкафа мне на плечо прыгнула ваза, когда-то подаренная тобою, и обплакала всю рубаху. Я едва успел поймать ее в объятия. В окно забарабанили, стали ли-

заться лохматые ромахи. Половицы, мяукая, выгибались и терлись о мои ступни.

«Родные, я привез вам Ответ! Сейчас вы все узнаете!»

Но тут я понял, что забыл Ответ.

Я забыл, я все забыл.

Я живу, все дни я пытаюсь вспомнить Ответ. Портрет не узнает меня. Какая мука — вспоминать, вспоминать и не вспомнить! Может быть, Слово случайно само сложится из букв строящегося облака? Может быть, Ответ надо не получать с небес, а строить самому, и в этом тоже есть смысл Ответа?

«**О**ткажитесь от идеи облака. Опасно после стольких лет отвычки братья за архитектуру — облажаетесь! Архитектура в отличие от зданий не стоит на месте. Ваш объект все равно зарубят. Оппонент Омлетов категорически против. Он звонит по ночам конструкторам, членам худсовета, вашим соавторам, запугивает их, чужим голосом ухает, хрюкает, храпит в трубку.— И мяукает? — Откуда вы знаете? И мяукает».

Боже, неужели и до этого ты докатилась в своей низкой мести мне? А может, и вправду идея не удалась?

**О**тмщенье!  
Спустились, набрякли, взбесились небеса. Природе отшибло память. В июне под Москвой выпал снег. Урожай сгорели и померзли.

Вытаращенный несчастный шар носился над поселком!

«Я тебе сделаю! Я тебе устрою архитектуру! Я тебе сворую Ответ! Я связалась с подонком!»

Ты лупила по мне, как кнутом, черными молниями. Но, слепая от гнева и горя, промахивалась.

Ташкент шатнуло землетрясением. Ты швыряла мечети оземь, как чашки.

«Я тебе снюхаюсь с «белыми дырами!»»

Всеобщее затмение ума! Черемуха зацвела черным. По всей округе молоко в чашках стало черным и превратилось в пустоту. Я не могу ни рисовать, ни писать на ставших черными листках бумаги, слова утопают, сливаются с темнотою.

Ты вселилась в обезумевших кошек, кур, прохожих — они несутся найти меня, заклевать, выцарапать, проработать.

Солнце, твой родич, почернев, вздымает над головой взбешенные кулаки, будто, пыхтя, пытается подтянуться на невидимом турнике. Оно кричит что-то яростное, солнечное на своем, как у всех толстяков, тонком обиженном дисканте.

«Погода балует! — Соседи заперлись на крюки. — Все небо продырявили».

Я один знал, что это я виноват во всем. Зачем я приручил тебя к нашим земным утехам? Я виноват в том, что сторели урожая. Я виноват в том, что я лишь человек, что мои поступки человечьи, я мыслю, увы, не высшим разумом, а по-дурацки, лишь по-людски.

Ты обезумела, ты обезумела, ты обезумела.

«Где ты прячешься? Ах, ты запер все фортки! Небось со своей тварью. Да, я глухая, слепая, но погляди на себя, портреты шарахаются от тебя. (Портрет, перекосясь, плюнул в меня.) Что я нашла в этой роже? Глянь в зеркало — подбородок в краске, а может, это помада? (Зеркало хлобысть — вдребезги.) Ну, теперь я уже не промажу!»

Слепая, она проносилась мимо.

Вдруг, видно вспомнив, она зависла в зените точно над моим домиком. Крыша вжалась. Она застыла. Сейчас последует неотвратимый удар. Она не промажет. Но она медлила, видно, чтобы продлить наслаждение мщенья.

Потом вдруг дрогнула и окуталась каким-то туманным облаком.

Ты плачешь? Ты можешь плакать, несчастная, злѣбная, нескладная, мокрая, как электрический

скат? Ты плачешь впервые в жизни. Бессловесная кикимора, ты можешь плакать?

Все отсырело в комнате. Черные бумаги про-светлели, прояснились, но стали волглыми, на них расплылись слова. Ну вот, наорут, все перебьют, а потом утешай их!

Окно снаружи запотело. Потом по стеклу побежали чистые ручьи. Я открыл раму.

Тебя не было. Утомившееся солнце садилось за полем, все еще машинально подымая и опуская кулаки, будто спускало из бачка воду. В такт ему набегал трепет листвы в кладбищенской роще, будто накатывающиеся и стихающие аплодисменты.

Я выпрыгнул в сад. Я прижался щекой к внешней стороне стекла. Щеки стали мокрыми от твоих слез.

Годы, века? — не помню.

**О** канчиваю. Я прощаюсь с тобой, моя темная повесть! Ты скоро разлетишься по свету на тысячи буквочек, как бусины распавшихся бус, но в каждой из маленьких «о» отныне будет отсвет твоего тепла.

Вечереет. Я пишу в Переделкине за садовым столом. Белые рамы дома как бы отдаляются в сумерках. Белый лист бумаги покрывается теменью моих словес, исчезает под строчками.

Уже совсем темно. Не видно ни листа, ни пера, ни руки — они сливаются с твоей тьмой. Прощай. Я столько суток провел с тобою. Я забывал для тебя друзей и дела. Как ты меня мучила! Спасибо, что ты меня нашла.

Оловянное небо написано нейтральтином на подаренном рисунке Мура. Сумерки встревожены, небо волнуется, ищет тебя. В тучах просвет, будто открытая форточка.

Поспешный овал озера. Четыре дерева на другом берегу. В центре озера стоят три грации — Поэзия? Архитектура? Разлука? Прижавшись друг к



другу, они образуют триединый беломраморный столб.

Они стоят на темном пьедестале. Судя по черному плавнику, это спина дельфина, кита-касатки либо лох-несского чудища. А может, это черные шестерни нашего жестокого века?

Видно, как кисть художника торопится, мазок поспешает, летят брызги, видно, как он, волнуясь, приготавливает в баночке нейтральтин, смешивая берлинку, умбрию и свою тоску. Кисть торопится, он разбрызгивает воду, краску, жизнь. Век торопится, век истекает. Он спешит сообщить нечто важное, происшедшее с ним.

Но что это? Или это изъян бумаги? Нет, это явно не клякса.

В центре неба повисло темное отлетающее тоскливое пятно. Оно замедлило взгляд. Оно смотрит на озеро, на белый столб, на нас с вами. Торопитесь! Оно сейчас улетит.

Рука Мура безотчетно сама запечатлела, что с ним произошло, самый момент твоего отлета. Это твой единственный портрет.

Я вешаю этот рисунок на стену переделкинской комнатки, где ты провела столько дней. Он расположился рядом с солнечным эскизом павловского павильона плавательного театра, где в трех белых дырах плещутся вода, солнце, смех.

Сумерничаю с Муром.

Полдничаю с Павловым.

**О**тлично слышно... 08? Это ты, Скульптор? Салют! Что?! На худсовете утвердили наш проект?! Повтори... Не может быть! Ура! А оппонент Омлетов? Не явился?.. Как — провалился? Шел по проспекту и провалился в какую-то дыру? Там же не было дыр! Ну, наверное, ремонтировали. Ну пусть не роет другому яму — сам попал...

Одновременно в трубке завопили голоса и Мура, и Павлова, и Капы, и твой. Все орали, поздравляли. Одновременно слышалось уханье и храп,

Ну почему я вдруг обернулся?

Я узнаю этот взгляд из тысячи. Из угла, набы-  
чась, радостно глядела моя черная дыра. Вернулась!

Ну почему я не успел тогда сразу же захлоп-  
нуть фортку?

Она метнулась к окну. Она задержалась на  
мгновение в форточке. Помедлила. Покачалась.  
И тоскливо обернулась.

Больше я ее никогда не видел.

1982—1983

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

*Осенью сего года, много времени спустя после опубликования «О», я вновь оказался в Лондоне. Шла работа над английским телефильмом по опере «Юнона» и «Авось». Но меня не оставляло ощущение, будто я живу в продолжении повести «О».*

*Мур болел. Одетый в полосатую, как осока, байковую пижамку, он лежал под бурым пледом в постели, поставленной посреди протяжной гостиной. Перед ним для развлечения мерцал мини-телевизор и для гармонии духа — коричневое полотно Курбе. Он еще более сжался, угрожающе выпушив свои бровищи. Стеклянная продолговатая гостиния накрывала его, как накрывает зажигалку магазинный плаستيковый футляр.*

*Он продолжал что-то рисовать углем на планшетке.*

*Меня поразила сила духа в нем, как он может все хмуро помнить, все знать, интересоваться. «Дыры — это форма пространства, формы воздуха», — сказал он. Меня поразило, как он цепко помнит Одена, которого когда-то рисовал, что он может еще во все вникать, спрашивать, чем я занимался все это время. Я показал ему золотистую дыру Поэтарха. Зайчики от фольги проекта поплыли по его лицу, драгоценные морщины вспыхнули, зрачок зажегся хищным светом.*

*Жена его опять была скована гипсом, но теперь уже по случаю перелома руки. Мамонтовый бивень был отгеснен к стене новыми работами. За окнами цвела дикая белая сирень. В саду из дупел вылупливались новые дыры. Кто-то подглядывал из-за деревьев. Чудилось присутствие лукавой*

силы. Неудивительно, что машина наша на обратном пути сломалась, и мы добирались в город в кабине аварийки.

Словом, все вроде бы продолжалось, как в повести. По цвет времени как-то померк, поменялся. Будто тревога ра- створена. Цвет стал суровым.

**Воды злобы и страха  
Плывут над светлой землей,  
Поглощая частные жизни.  
Тошнотворным запахом смерти  
оскорблен вечерний покой.**

*Эти классические строки Одена не идут из ума в течение всей поездки. Поэт написал их 1 сентября 1939 года, в день начала войны. Они вошли во все хрестоматии. Потом он пытался вычеркнуть их, считая наивными. Я никогда не слышал, чтобы он читал их на вечерах.*

**Мы все должны полюбить друг друга  
Либо умереть.**

*Эти строки уже не принадлежали написавшему их человеку с глубокими, как земные складки, морщинами на щеках. Вытесненные со страниц, они остались в воздухе. Они говорили о судьбах и странах. Они могли быть написаны сегодня.*

*Я вспомнил их, когда шел ошеломленный 400-тысячной демонстрацией в Гайд-парке против размещения ракет. Это крупнейшая из всех демонстраций, когда-либо происходивших в Англии. Ей не предшествовала ни реклама, ни привывы прессы — лишь крохотные объявления. Люди пошли сами, внутренней волей пошли и впритирку стояли, плотно наполнив огромный Гайд-парк — безработные и домохозяйки, шахтеры и актрисы. Русский доминиканский монах в фиолетовой сутане, подпоясанный белой веревкой, играл на флейте. Рассовывались рабочие листовки. Рядом со мной стоял бледный панк в черной куртке с металлом. Его юный череп был обрит наголо, оставлена лишь бороздка волос посредине. Эти волосы, отращенные сантиметров на сорок, торчали вертикально, подобные страусовому вееру. Видно, он долго пропитывал их сахарным сиропом. К ним присохла городская пыль. Я много встречался с такими. Он принадлежал к группе «Могикане» — юный безработный, страшный и красивый репейник безнадежья. Может быть, именно он написал на стене: «Если ваша система — ответ, то каким же*

идиотским должен был быть вопрос!» На бритом черепе фло-мастером был нарисован кружок мирного движения.

На временной дощатой сцене под желтой стрелой кра-на кричат ораторы, снимая пальто перед микрофоном. Голо-сит женщина в комбинезоне, из тех, что с малыши детьми дежурят, разбив палатки, у ракетных баз, за ней выступает новый молодой лидер лейбористов, за ним актер, потом гита-рист, поющий без гитары, ибо транслировать музыку запре-щено сегодня, потом епископ и вожди мирного движения.

Сбоку каждого оратора на сцене жестикулирует пере-водчик, переводя все сказанное на язык глухонемых.

В небе кружится желтый вертолет. Вероятно, с неба сотнетысячная толпа, сплотившаяся вокруг эстрады, кажется гигантской грампластинкой с желтой наклейкой посредине. Меня шатает от этого биополя двадцати слившихся Луж-ников.

«Мы все должны полюбить друг друга либо умереть» — запали в мое сознание слова когда-то жившего среди нас поэта.

Поэзия приходит в мир помочь, хоть одну слезу осу-шить, она кричит о болях людских, она ищет выхода.

Время наше не для болтовни и баловства. Впервые с начала цивилизации каждую секунду может произойти ката-строфа, погибнет все живое: ядерные безумцы опасны. Угро-жающи проблемы экологии. Раньше художник, непонятый или третьюемый современниками, обращался через их го-ловы к потомкам. Хлебников знал, что его поймут через несколько десятилетий. Даже пессимизм Кафки был опти-мистичен, ибо он оставил после себя рукописи, явно обра-щенные к тем, кто его прочитает. Иначе зачем было писать? Сейчас вообще может не быть будущего. И никто никогда ничего не прочитает. Поэт пишет свой дневник, и если он искренен, то становится дневником эпохи.

Но мы отвлеклись от послесловия. Случилось так, что повестью этой завершается мой трехтомник. Далее следует Оглавление — содержание не столько стихов, сколько про-житой жизни, совпавшей с серединой двадцатого века. Она нелегка, эта жизнь, как нелегка и поэзия. От «Гойи», «Ма-стеров», «Озы» до только что написанных «Матери» и «Сна» — это даже не «про» и не «контра», не литературное кредо — это смысл жизни. Другой мне не дано.

— А как же все-таки послесловие? — спросит чита-тель. — Что же стало с героями повести?

---

*Станция метро «Нагатинская» завершена досрочно. Архитектор Л. П. Павлов трудится над деревянным проектом консерваторского театра. При выезде из Тбилиси воздвигнут монумент — это того, что на Большой Грузинской — он походит на виток спирали, на двойное отражение «о» в водах пространства и Времени.*

*Лазуковой чинят крышу. И, как принято писать, — совершись одно лишь это, автор счел бы свой труд не напрасным.*

*Новая вещь маячит сейчас в моем сознании.*

*Но «О» очертило мою жизнь магическим кругом.*

1983

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

	том	стр.
«—А еще я скажу апропо...»	2	228
Авось! (Поэма)	2	98
Автолитография	2	416
Автомат	2	20
Автопортрет	1	154
Агрогород	3	354
Аисты	2	150
«Айда, пушкинианочка...»	2	80
Анафема	2	309
Ангелы грязи (Рифмы прозы)	2	520
Андрей Полисадов (Поэма)	3	203
Аннабел Ли	2	408
Антимиры	1	89
Арагон (Рифмы прозы)	2	513
Арбатские рощи	3	356
Архистихи	3	228
Архитектор Павлов	3	160
Ау, Ванкувер! (Рифмы прозы)	2	490
Афиногеновские клены	3	176
«Ах, летучая бусинка боли...»	3	28
«Ах, переход в полосках белых...»	3	123
Баллада	3	98
Баллада-диссертация	1	98
Баллада работы	1	71
Баллада с гитарой	1	121
Баллада 41-го года	1	358
Баллада спасения	3	170

Баллада точки	1	65
Баллада яблоня	1	159
Бар «Рыбарска хижа»	1	269
Беатриче	3	295
«Бегите — в себя, на Гаити, в костелы...»	1	323
Безотчетное	3	61
Белая	3	95
Беловежская баллада	2	207
Берег	3	164
«Благословенна лень, томительнейший плен...»	1	190
Бобровый плач	2	62
«Бобры должны мочить хвосты...»	2	295
«Божественно после парилки...»	3	317
Бой петухов	1	277
Бойни перед сносом	2	312
Больная баллада	1	151
«Будто дверью ошибся...»	3	264
«Был бы я крестным ходом...»	3	105
«Был он мой товарищ по классу...»	1	58
Бьет женщина	1	193
Бьют женщину	1	29
<b>В. Б.</b>	1	350
«В больничном саду воскресник...»	3	329
«В век варварства и атома...»	3	330
«В воротничке я...»	1	262
«В дни неслыханно болевые...»	1	317
«В доме негусто, но пиршество взору...»	3	317
В магазине	1	52
«В мире друзей, в мире транспорта долгого...»	1	357
В непогоду	2	82
В полях безоглядных	3	175
«В пору, когда зацветает акация...»	3	278
«В скольжение юзом — специфичность...»	2	170
«В толпе меж рынком и кинотеатром...»	2	339
В тополях	3	32
«В человеческом организме...»	2	71
Вальс при свечах	1	271
Ванька-авангардист	2	32
«Вас за плечи держали...»	1	64
Васильки Шагала	2	132
Величальная открытка В. Бокову	2	93



Верба	3	321
Вестница	3	10
Вечер в «Обществе слепых»	2	35
Вечер в ЮНЕСКО	3	292
Вечер на стройке	1	39
Вечеринка	1	353
Вечное мясо (Поэма)	3	128
Вечные мальчишки	2	407
«Взад-вперед походкой челночной...»	3	316
«Вижу как сон — ты стоишь в полукруге...»	3	18
Вийон	3	123
«Висит метла — как танцплощадка...»	2	342
«Виснут шнурами вечными...»	2	388
Водная лыжница	2	17
Водяные	3	110
Возвращение в Сигулду	1	180
Воздушные лыжи	3	112
Вольноотпущенник Времени	2	215
«80» — в нимбе знака...»	2	229
Воспоминания о земном притяжении	3	196
Время на ремонте	1	293
«Все возвращается на круги свои...»	2	290
«Все конкретней и необычайней...»	3	313
Вслепую	2	318
Вступление к поэме «Бой!»	3	325
Второе вступление	1	104
Вторые рожи	2	297
«Вы выдумали — мы стадом плетемся...»	2	326
«— Вы читали? — задавили Челентано!..»	3	75
«Выгнувши шею назад осторожно...»	3	311
«Вызывайте ненависть на себя почаще...»	3	335
Выписка из книги «Чародейство, волшебство и все русские народные заговоры»	3	156
Выпусти птицу!	2	73
Выставка «Москва — Париж»	3	69
Гамбург-ретро	2	402
Гайана	2	341
Гибель оленя	2	370
Гитара	1	91
«Глядите в лапу клиенту нищему...»	3	161
Гнев	2	258
Говорит мама	2	151

Гойя	1	21
Голос	3	251
Горный монастырь	1	286
Горный родничок	1	339
Гость из тысячелетий	2	234
Гость у костра	3	326
«Графоманы Москвы...»	1	259
Грех	2	399
Грипп «Гонконг-69»	1	300
Грузинские храмы	3	116
«Груша заглохшая, в чаще одна...»	2	276
«Да здравствуют прогулки в полвторого...»	1	292
«Дали девочке искру...»	1	349
Дама треш (Опера-детектив)	2	172
2 секунды 20 июня 1970 г. в замедленном дубле	1	304
«Две школы — женская, мужская...»	3	362
Дежурная аптекарша	3	141
Декабрьские пастбища	1	230
Деревянная звонница	3	318
Деревянный зал	3	11
Джованни Строщи на «Ночь» Буонарроти	2	262
Диалог Джерри	1	251
Длиноного	1	78
«Для души, северянки покорной...»	2	291
Догадка	3	23
Дозорный перед полем Куликовым	3	106
Доктор Осень (Баллада)	2	123
Донор дыхания	2	28
Доноры	3	258
До разлуки	2	338
«Дорогие литсобратья!..»	2	226
«Друг мой, мы зажились. Бывает...»	2	227
Другу	2	388
Друзьям-юбилярам	3	156
Думайте поступками	3	146
Духовное взяточничество	3	27
Дыба-воевода	3	163
Е. W.	2	400
Е. В. Ж.	3	294
Елена Сергеевна	1	56

Елка («Елка упала всеми подолами...»)	3	315
Елка («За окном кариатиды...»)	1	341
«Если б тебя не было...»	2	303
«Есть русская интеллигенция...»	2	203
Еще о Данте	2	260
«Жадным взором василиска...»	1	224
Женщина в августе	2	37
Женщина перед зеркалом	3	147
«Живите не в пространстве, а во времени...»	2	289
«Живу в сторожке одинокой...»	1	303
«Жизнь моя кочевая...»	1	184
«Жил художник в нужде и гордыне...»	2	348
Жестокий романс	2	22
«За тобою прожженные годы...»	3	286
Забастовка стриптиза	1	332
Замерли	1	156
Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского	1	155
Заплыв	2	280
Заповедь	2	56
Зарастающее озеро	2	299
«Заслышу ль рифму в перелеске...»	3	299
Засуха	2	243
«Затосковала душа, охромела...»	2	155
«Зачем из Риги плывут миноги...»	2	383
«Зашторены закаты...»	3	199
Звезда	2	209
Звезда над Михайловским	2	395
Звездное небо (Рифмы прозы)	2	431
«Знай свое место, красивая рвань...»	2	390
Зов озера	1	189
Зодчие речи (Медная поэма)	3	267
Золоченое разочарование	3	285
Зомби забвенья	3	29
«Зрители в бушлатах дымят махрой...»	2	143
Идиллия	3	178
«Иду я росой предпокосной...»	3	19
Из давнего дневника	3	283
Из дневника графа Резанова	3	308
Из закарпатского дневника	1	195

Из Мексики	3	118
Из Расула Гамзатова	3	291
Из сибирского блокнота	3	324
Из ташкентского репортажа	1	212
Из Хемингуэя	2	304
Из якутского дневника	3	165
Имена	3	86
Индийская корова	3	338
Инструкция	3	71
Ирена	1	178
Испанская песня графа Резанова из оперы «Юнона» и «Авось»	2	379
Испытание болотохода	1	263
Истина	2	255
Итальянский гараж	1	134
Июнь-68	2	334
<b>К барьеру!</b>	3	280
К Данте	2	259
«Как белоснежно, как бездонно...»	3	310
«Как сжимается сердце дрожью...»	2	287
«Как хорошо найти...»	3	194
Кабанья охота	1	287
Калигула	3	335
Катаев-75 (Рифмы прозы)	2	473
Квартира	3	154
Кемская легенда	1	222
Киж-озеро	1	216
Кладбище грузинского шрифта	3	275
Классицисту	3	149
Книжный бум	2	380
«Когда всегда передо мной...»	3	193
«Когда звоню из городов далеких...»	3	117
«Когда написал он Вяземскому...»	2	401
«Когда по Пушкину кручинились миряне...»	2	227
«Когда ты забираешь наверх под кепку волосы...»	3	198
«Когда устали в небесах скитаться...»	3	296
«Когда человек боится...»	3	180
«Когда я слышу визг ваш шкурный...»	3	89
Колесо смеха	3	323
Комплекс	3	297
Кончитта	3	244

Королевская дочь	2	152
Кошка	3	144
«Кошкин лаз» — Цезарь-палас	3	303
Красота	2	274
Кредо	3	289
Критику	3	88
«Крокодилы окотились!..»	3	153
Кромка	2	44
Кроны и корни	1	46
«Кто мы — фишки или великие?..»	1	321
Кузнечик	3	284
Кумир	2	216
<b>Ласточки</b>	3	45
Латышский эскиз	1	95
Лед-69' (Поэма)	2	45
«Лежат велосипеды...»	1	66
Лейтенант Загорин	1	201
Лесалки	2	153
Лесная малица	2	386
Лесник играет	2	149
Летающий мужик	2	144
Летописец	2	162
Лешенька	1	356
Ливы	1	228
Лилечанские болота	2	293
Лирическая религия	1	335
«Лист летящий, лист спешащий...»	1	225
Лобная баллада	1	31
Лодка на берегу	1	279
Лондонский мост	3	188
Лонжюмо (Поэма)	1	377
Лунная Нерль	1	352
Лыжник	3	150
«Льнешь ли лживой зверью...»	2	350
Люблю Лорку (Рифмы прозы)	2	457
Любовь	2	256
«Любовь и горе — вне советов...»	3	145
Люмпен-интеллигенция	2	363
<b>Мадригал</b>	2	264
«Малина и крапива...»	3	314
«— Мама, кто там вверху, голенастенный...»	2	65

Март	3	322
Марше О Пюс. Парижская толкучка древностей	1	173
Мастера (Поэма)	1	367
Мастерские на Трубной	1	76
«Матери сиротеют...»	1	189
Матросы	3	240
Мать («Охрани, Провидение, своим махом шагреновым...»)	1	81
Мать («Я отменил материнские похороны...»)	3	17
Маяковский в Париже	1	168
«Медновзметенная гора...»	3	316
Мелодия Кирилла и Мефодия	2	279
Менады	3	248
Месса-04	2	396
Мехико-сити	3	120
Миллион роз	3	262
Мнемозина на метле (Рифмы прозы)	2	469
Мой Микеланджело	2	245
Мне четырнадцать лет (Рифмы прозы)	1	415
Молитва	1	315
Молитва Микеланджело	2	212
Молитва спринтера	2	271
Молчаливый звон	2	320
Монахиня моря	3	90
Монолог актера	1	363
Монолог биолога	1	219
Монолог битника	1	94
Монолог века	3	55
Монолог Мерлин Монро	1	147
Монолог Резанова	2	354
Монолог читателя на Дне поэзии 1999	2	272
Мороз	3	151
Морозный ипподром	1	266
Морская песенка	1	254
Мотогонки по вертикальной стене	1	92
Мужиковская весна	2	218
«Мужчины с черными раскрытыми зонтами...»	3	302
Музе (Надпись на избранном)	2	244
Муки музы (Рифмы прозы)	2	524
Мулатка	3	92
Муравей	2	137
Муромский сруб	1	172
«Мы все забудем, все с тобой забудем...»	3	126

«Мы — кочевые...»	1	157
«Мы нарушили Божий завет...»	2	78
«Мы обручились временем с тобой...»	2	65
Мыслящий промышленник	3	24
<b>На озере</b>	2	64
На плотях	1	33
«На соловья не шлют доносов скворки...»	3	290
«На спинку божия коровка...»	1	291
«На суде, в раю или в аду...»	2	77
«На улице, где ты живешь...»	2	349
«Наверно, ты скоро забудешь...»	3	79
«Нависает наполовину...»	2	329
Над омутом	3	312
Надпись на монументе Большой Грузинской	3	273
«Нам, как аппендицит...»	1	249
«Напоили...»	1	122
«Нас много. Нас может быть четверо...»	1	136
«Нас посещает в срок...»	3	293
«Наш берег песчаный и плоский...»	1	285
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	1	42
Не забудь	2	232
«Не исчезай на тысячу лет...»	2	277
«Не отрекись...»	1	316
Не пишется	1	246
«Не понимать стихи — не грех...»	3	277
«Не придумано истинней мига...»	2	58
Небесный человек	3	260
Невезуха	3	65
Недописанная красавица	3	63
Недоумение	3	200
Некролог	3	313
«Нельзя в ту же реку стать дважды...»	3	37
«Ненавижу афоризмы...»	2	333
«Неужто это будет все забыто...»	2	398
Нечистая сила	2	366
«Ни в паству не гожусь, ни в пастухи...»	3	115
Никогда	3	190
Новая Лебедя	2	346
Новая природа	3	319
Новогоднее письмо в Варшаву	1	116
Новогоднее платье	2	163
Новогодние ралли-стоп	2	223

Новоселье	3	320
Новый Арбат	2	332
Новый год в Риме	1	131
Ностальгия по настоящему	2	199
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	1	82
Ночь («Выйдешь...»)	2	291
Ночь («Сколько звезд!..»)	1	150
НТР	2	138
«Ну что тебе надо еще от меня?..»	2	9
«Ну, что ты стесняешься...»	3	237
Нью-Йоркская птица	1	102
Нью-Йоркские значки	1	327
Нырок	2	385
<b>О (Рифмы прозы)</b>	<b>3</b>	<b>365</b>
«Облака лежали штучные...»	2	301
Обмен	2	211
Обсерватория	2	343
Обстановочка	2	66
Общий пляж № 2	1	280
Объявление	3	156
Объявление о знакомстве	3	181
Ода дубу	2	29
Ода на избрание в Академию искусств	2	86
Ода одежде	3	140
Ода сплетникам	1	68
Оза (Поэма)	1	387
Озеро	2	205
«Озеро отдыха возле Орехова...»	3	311
Озеро Свитязь	2	292
Окно	3	124
Олененок	1	170
Олень по кличке «Туманный Парень»	2	285
Оленья охота	2	311
Он (Две песни, I)	2	38
Она (Две песни, II)	2	39
«Оправдываться — не обязательно...»	3	169
Осеннее вступление	1	242
Осенний воскресник	1	70
Осенний Дилижан	1	360
Осень	1	40
Осень в Сигулде	1	24
«Остерегите истеричек!..»	3	349



«От Ховрина и до Мехико...»	3	162
Ответ Буонарроти	2	262
Ответ критику Адольфу Урбану (Письмо 1. Письма из Переделкина Рифмы прозы)	2	480
«Отец, мы видимся всё реже-реже...»	2	147
«Отзовись!..»	1	342
Открытка («Что тебе привезти из Парижу?...»)	3	359
Открытка («Я не приеду к тебе на премьеру...»)	2	392
«Отогнувши средний подлокотник...»	2	302
Отставший лебедь	2	323
Охота на зайца	1	144
Охотник	1	348
«Отчего в наклонившихся ивах...»	2	72
<b>Памяти Владимира Высоцкого</b>	<b>3</b>	<b>77</b>
Памятник	2	201
«Память — это волки в поле...»	1	292
Параболическая баллада	1	27
Париж без рифм	1	163
Пароход влюбленных	2	403
Пасата	2	94
«Пасечник нашего лета...»	3	157
Певец	2	289
Пейзаж с озером	2	377
«Пел Твардовский в ночной Флоренции...»	1	319
Первое вступление к поэме «Треугольная груша»	1	85
Первый автобус	3	59
Первый лед	1	54
Первый снег	3	331
Перед рассветом	2	389
Песенка из спектакля	2	91
Песенка кровельщика	3	259
Песенка травести из спектакля «Антимиры»	1	153
Песня («Милый моряк, мой супруг незаконный!..»)	3	239
Песня («Называли ее — мать Мария...»)	1	361
Песня акына	2	10
Песня кабацких разбойников	3	247
Песня на «бис»	3	250
Песня Офелии	1	80
Песня шута	2	59

Песчаный человек	2	241
Пианистка	3	309
Пиета Микеланджело	2	362
Пир	2	239
Плач по двум нерожденным поэмам	1	186
«Под ночной переделкинский поезд...»	2	284
«Под утро ты придешь назад...»	3	125
Повесть	2	76
«Погадай, возьми меня за руку...»	2	23
«Поглядишь, как несметно...»	2	360
Пожар в Архитектурном институте	1	22
Польское	1	118
Полюс	3	164
Поминки с сенатором	3	307
Порнография духа	2	165
Портовая стойка	3	257
Портрет	3	345
Портрет Плисецкой	1	235
Посвящение	3	139
После фильма «20 лет спустя»	2	351
После последней войны	3	279
Последняя электричка	1	61
«Поставь в стакан замедленную астру...»	2	402
Потерянная баллада	1	100
Похороны Гоголя Николая Васильича	2	25
Похороны Кирсанова	2	140
Похороны цветов	2	213
«Почему два великих поэта...»	1	111
Почта телепоэта	2	405
Поэт Гюнтер Грасс (Рифмы прозы)	2	441
Поэт и площадь (Рифмы прозы)	2	463
Поэтарх (Поэма)	3	47
Поют негры	1	325
Правила поведения за столом	2	97
Предсмертная песнь Резанова	3	242
Преображение	2	364
«Приди! Чтоб снова снег слепил...»	2	58
«Признаю искусство...»	2	96
«Приснись! Припомни, бога ради...»	2	131
Проводница	3	183
«Провожайте летние самолеты!..»	3	287
«Проглядев Есенина, упустивши Пушкина...»	3	301
Пропорции	3	16

Прорабы духа	3	351
«Прославленная тень!..»	3	290
«Проснется он от темнотищи...»	1	233
«Прости меня, что говорю при всех...»	1	209
Прости мне	2	345
«Просто— наше шоссе и шиповник...»	3	21
Противостояние очей	1	129
«Проходишь ты без попутчика...»	3	122
«Прошло много ли мало...»	3	39
Прощание с Венецией	3	192
Прощание с Политехническим	1	138
Р. С.	2	351
«Пусть на суше взывает доблестно...»	3	189
Путеводитель к сборнику «Дубовый лист виолончельный» (Рифмы прозы)	2	506
Разговор с эпитафием	2	141
Размолвка	3	83
«Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке...»	2	342
Рано	1	232
«Распрянулись года, как вода...»	3	288
Распутин	3	327
«Расчищу Твои снегопады...»	2	171
Регтайм	3	254
Редкие кражи	3	33
Резиновые	3	40
Река	3	265
Реквием	2	269
Реквием оптимистический	2	11
Рентгеноснимок	2	413
Реплика на реплику (Письмо 2. Письма из Переделкина. Рифмы прозы)	2	488
Ресторан	3	253
Рецензия на сборник В. Бокова	1	346
Речь	3	57
Римский водитель	1	141
Римский пляж	3	42
Римская распродажа	2	376
Рифмо-гекзамеры	3	305
Рождественские пляжи	1	283
Рок	3	20
Рок-н-ролл	1	124

Романс	2	268
Романс из оперы «Юнона» и «Авось»	3	238
Российские селф-мейд-мены	2	230
Роцца	1	258
Рублевское шоссе	1	142
Рукопись	2	381
Рыбак Боков варит суп	1	344
Рябина в Париже	3	22
«С иными мирами связывая...»	2	212
«С ясеней, вне спасенья...»	1	337
Сага	2	361
Сайгак	3	108
Сан-Франциско — Коломенское...	1	87
Свадебная песнь	3	245
Свадьба	3	328
Свет вчерашний	2	296
Свет друга	3	67
Свеча	2	327
Север	2	373
Сентябрь	1	355
Сергею Дрофенко	2	337
«Сердце русского драматурга...»	2	410
Сестра	3	14
Сибирские бани	1	35
«Сидишь беременная, бледная...»	1	67
Синий журнал	3	35
Сирень «Москва — Варшава»	1	114
«Сирень похожа на Париж...»	1	162
«Сколько свинцового яда влитó...»	1	150
Скорость	3	282
Скрытымным	1	310
Скука	2	84
Скульптор свечей	2	368
Скупщик краденого	1	311
Слеги	1	223
«Словно ввели в христианство тебя...»	2	402
«Сложи атлас, школярка шалая...»	1	308
«Слоняюсь под Новосибирском...»	1	256
Смерть	2	267
Смерть Шукшина	2	214
«Смеюсь, когда Вы в угаре...»	3	338
Сначала	2	7

Снег в октябре	1	234
«Снимите личины, статисты речистые...»	3	179
Собака	3	76
Собакалиписис	1	298
Соблазн	2	393
Соловей-зимовщик	2	135
«Соловьиная перспектива!..»	3	173
Сон («Мы снова встретились. И нас...»)	2	75
Сон («На площади судят нас, трех воров...»)	2	308
Сон («Я шел вдоль берега Оби...»)	2	14
Сонет с узлом	3	342
Сосед (Рифмы прозы)	2	421
«Соскучился. Как я соскучился...»	3	168
Спальные ангелы	2	42
Спасатель	3	186
Спасательная станция	3	185
Стадион	3	300
Стансы	1	191
Старая песня	1	276
Старая фотография	2	83
Старофранцузская баллада	2	81
Старухи казино	1	176
Старый Новый год	2	352
Стеклозавод	2	282
Стихи для детей	3	249
Стихи, написанные в домике Вордсворса (Рифмы прозы)	2	428
«Стихи не пишутся — случаются...»	2	131
Стихи на тбилисском монументе	3	274
Стихотворение, вращающее вал	2	306
Стога	1	119
Стрела в стене	1	226
Стриптиз	1	330
Строки	1	260
Строки Роберту Лоуэллу	1	106
«Суздальская богоматерь...»	1	48
Табуны одичания	2	219
Тайгой	1	37
Тайное время	3	37
Такое же — и все другое (Рифмы прозы)	2	446
Тбилисские базары	1	63
«Твои волосы — долгие на удивление...»	3	197

Творчество	2	261
Телеграмма	3	114
Терновник	2	344
«Теряю свою независимость...»	2	168
«Тетку в шубке знал весь городок...»	2	404
«Тихо-тихо. Слышно точно...»	3	38
Тишины!	1	127
Тобольский романс	3	252
Торгуют арбузами	1	60
Тоска («Загляжусь ли на поезд с осенних откосов...»)	1	248
Тоска («Который день на койке латаной...»)	3	149
Травматологическая больница	2	411
Трасса смерти	3	301
Три синих	3	360
Три скрипки	3	44
31 марта	3	340
Трубадуры и бюргеры	3	68
Туля	1	340
Туманная улица	1	49
«Ты живешь до конца откровенно...»	3	85
«Ты молилась ли на ночь, береза?...»	2	16
«Ты поставила лучшие годы...»	2	61
«Ты пролетом в моих городках...»	1	197
«Ты с теткой живешь. Она учит канцоны...»	1	351
Ты чудо вся — даже пустяк такой!	3	295
1982	3	357
Люльпаны на полюсе	3	166
У костра	3	167
«У края поля, в непроглядном веке...»	3	97
У моря	3	109
«У речки-игруньи...»	1	338
«Увижу ли, как лес сквозит...»	2	328
Уездная хроника	2	357
Уже подснежники	1	274
Украли!	2	87
Улитки-домушницы	2	336
«Умирайте вовремя...»	1	211
Уроки польского	1	318
Устье	3	80
Утро	2	257

Фары дальнего света	2	415
Фиалки	2	69
Флорентийские факелы	1	74
Фрагмент автопортрета	2	265
Фрески	3	350
Футбольное	1	96
Хамелеонья душа	3	339
Хобби света	2	197
Хозяин отеля	3	158
Хозяйки	2	41
Храм Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке	2	330
Хранитель огня (Рифмы прозы)	2	461
Художник и модель	2	19
Художник Филонов	1	296
Художники обедают в парижском ресторане «Кус-кус»	2	156
Цветная песенка	2	89
Цветы на стволе	3	195
Цинизм	2	167
Чары Чаплина		281
Час Чаклайса (Рифмы прозы)	2	477
Частное кладбище	1	110
Часы посещения	2	387
Человек-магнитофон	3	261
Человек с древесным именем (Рифмы прозы)	2	425
Черная береза	3	94
Черное ёрничество	2	221
Черные верблюды	2	324
Читая Махамбета	2	322
«Что ты ищешь, поэт, в кочевье?..»	2	24
Чудо	2	409
Шабашники	2	374
«Шарф мой, Париж мой...»	1	183
Шафер	1	221
Шекспировский сонет	3	343
Школьник	1	44
Штиль	3	43
Шутливые строчки	3	334

Щенок по имени Авось	3	347
Щипок	1	55
Экология	3	191
Эрмитажный Микеланджело	2	242
Эскиз поэмы	1	203
«Этот плоский отель...»	3	256
Юрий Казаков (Рифмы прозы)	2	467
«Я в Шушенском...»	1	112
«Я вернусь, когда в город уйдешь...»	3	184
«Я внесу тебе клумбу зимнюю...»	2	367
«Я год не виделся с тобою...»	2	384
«Я — двоюродная жена...»	2	31
«Я загляжусь на тебя, без ума...»	2	367
«Я не ведаю в женщине той...»	2	298
«Я обожаю воздух сосновый!..»	3	346
«Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость...»	2	391
«Я помню птиц неутолимой Вечности...»	3	169
«Я посетил художника после кончины...»	3	100
«Я — семья...»	1	167
«Я снова в детстве погостил...»	1	362
«Я сослан в себя...»	1	143
«Я счастлив, что я умер молодым...» (Эпитафии, I)	2	263
«Я так считаю. А кто не смыслит...»	3	88
«Я умер, подчинившись естеству...» (Эпитафии, II)	2	263
«Я хочу в осенней дали...»	2	356
«Я шел асфальтом. Серый день...»	3	127
Яблоки с бритвами	2	340
Яблокопад	3	100
Яблонька	3	174
Языки	1	272
Якутская Ева	2	371
Ялтинская криминалистическая лаборатория	1	50



## СОДЕРЖАНИЕ

## СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

## МАЛЫЙ ЗАЛ

- Мать 7  
Вестница 10  
Деревянный зал 11  
Сестра 14  
Пропорции 16  
«Вижу как сон — ты стоишь в полукруге...» 18  
«Иду я росой предпокосной...» 19  
Рок 20  
«Просто — наше шоссе и шиповник...» 21  
Рябина в Париже 22  
Догадка 23  
Мыслящий промышленник 24  
Духовное взяточничество 27  
«Ах, летучая бусинка боли...» 28  
Зомби забвенья 29  
В тополях 32  
Редкие кражи 33  
Синий журнал 35  
«Нельзя в ту же реку стать дважды...» 37  
«Тихо-тихо. Слышно точно...» 38  
«Прошло много ли мало...» 39  
Резиновые 40  
Римский пляж 42

---

Штиль 43

Три скрипки 44

Ласточки 45

ПОЭТАРХ. ПОЭМА 47

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Монолог века 55

Речь 57

Первый автобус 59

Безотчетное 61

Недописанная красавица 63

Невезуха 65

Свет друга 67

Трубадуры и бургеры 68

Выставка «Москва — Париж» 69

Инструкция 71

«— Вы читали?— задавили Челентано!..» 75

Собака 76

Памяти Владимира Высоцкого 77

«Наверно, ты скоро забудешь...» 79

Устье 80

Размолвка 83

«Ты живешь до конца откровенно...» 85

Имена 86

Критику 88

«Я так считаю. А кто не смыслит...» 88

«Когда я слышу визг ваш шкурный...» 89

Монахиня моря 90

Мулатка 92

Черная береза 94

Белая 95

«У края поля, в непроглядном веке...» 97

Баллада 98

ЯБЛОКОПАД 100

РАМА

«Был бы я крестным ходом...» 105

Дозорный перед полем Куликовым 106

Сайгак 108

- 
- У моря 109  
Водяные 110  
Воздушные лыжи 112  
Телеграмма (на мотив А. Жофруа) 114  
«Ни в паству не гожусь, ни в пастухи...» 115  
Грузинские храмы 116  
«Когда звоню из городов далеких...» 117  
Из Мексики 118  
Мехико-сити 120  
«Проходишь ты без попутчика...» 122  
«Ах, переход в полосках белых...» 123  
Вийон 123  
Окно 124  
«Под утро ты придешь назад...» 125  
«Мы все забудем, все с тобой забудем...» 126  
«Я шел асфальтом. Серый день...» 127

ВЕЧНОЕ МЯСО. ПОЭМА 128

ЧУВСТВУЮ — СТАЛО БЫТЬ, СУЩЕСТВУЮ

- Посвящение 139  
Ода одежде 140  
Дежурная аптекарша 141  
Кошка 144  
«Любовь и горе—вне советов...» 145  
Думайте поступками 146  
Женщина перед зеркалом (на мотив В. Смита) 147  
Классицисту 149  
Тоска 149  
Лыжник 150  
Мороз 151  
«Крокодилы окотились!..» 153  
Квартира 154  
Выписка из книги «Чародейство, волшебство и все русские народные заговоры» 156  
Друзьям-юбилярам 156  
Объявление 156  
«Пасечник нашего лета...» 157  
Хозяин отеля 158  
Архитектор Павлов 160  
«Глядите в лапу клиенту нищему...» 161  
«От Ховрина и до Мехико...» 162

- 
- Дыба-воевода (на мотив Т. Аргези) 163  
 Полюс 164  
 Берег 164  
 Из якутского дневника 165  
 Тюльпаны на полюсе 166  
 У костра 167  
 «Соскучился. Как я соскучился...» 168  
 «Оправдываться— не обязательно...» 169  
 «Я помню птиц неутолимой Вечности...» 169  
 Баллада спасения (на мотив Ш. Нишнианидзе) 170  
 «Соловьиная перспектива!..» 173  
 Яблонька 174  
 В полях безоглядных 175  
 Афиногеновские клены 176  
 Идиллия 178  
 «Снимите личины, статисты речистые...» 179  
 «Когда человек боится...» 180  
 Объявление о знакомстве 181  
 Проводница 183  
 «Я вернусь, когда в город уйдешь...» 184  
 Спасательная станция 185  
 Спасатель 186  
 Лондонский мост (на мотив В. Смита) 188  
 «Пусть на суше взывает доблестно...» 189  
 Никогда (на мотив В. Смита) 190  
 Экология 191  
 Прощание с Венецией 192  
 «Когда всегда передо мной...» 193  
 «Как хорошо найти...» 194  
 Цветы на стволе 195  
 Воспоминания о земном притяжении 196  
 «Твои волосы — долгие на удивление...» 197  
 «Когда ты забираешь наверх под кепку волосы...» 198  
 «Зашторены закаты...» 199  
 Недоумение 200
- АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ ПОЭМА 203
- АРХИСТИХИ 228
- я ПЕЛ ХОРАЛЫ И ХИТЫ
- «Ну, что ты стесняешься...» 237  
 Романс из оперы «Юнона» и «Авось» 238

- 
- Песня 239  
Матросы 240  
Предсмертная песнь Резанова 242  
Кончитта 244  
Свадебная песнь 245  
Песня кабацких разбойников 247  
Менады 248  
Стихи для детей 249  
Песня на «бис» 250  
Голос 251  
Тобольский романс 252  
Ресторан 253  
Регтайм 254  
«Этот плоский отель...» 256  
Портовая стойка 257  
Доноры 258  
Песенка кровельщика 259  
Небесный человек 260  
Человек-магнитофон 261  
Миллион роз 262  
«Будто дверью ошибся...» 264  
Река (на мотив Аттилы Йожефа) 265

#### НЕ ОТРЕКУСЫ

- Зодчие речи. Медная поэма 267  
Надпись на монументе Большой Грузинской 273  
Стихи на тбилисском монументе 274  
Кладбище грузинского шрифта (на мотив Р. Маргиани) 275  
«Не понимать стихи — не грех...» 277  
«В пору, когда зацветает акация...» 278  
После последней войны 279  
К барьеру! (на мотив Ш. Нишнианидзе) 280  
Чары Чаплина 281  
Скорость 282  
Из давнего дневника 283  
Кузнечик 284  
Золоченое разочарование 285  
«За тобою прожженные годы...» 286  
«Провожайте летние самолеты!..» 287  
«Распрямылись года, как вода...» 288  
Кредо 289

- 
- «На соловья не шлют доносов скворки...» 290  
«Прославленная тень!...» 290  
Из Расула Гамзатова 291  
Вечер в ЮНЕСКО 292  
«Нас посещает в срок...» 293  
Е. В. Ж. 294  
Беатриче 295  
Ты чудо вся — даже пустяк такой! 295  
«Когда устали в небесах скитаться...» 296  
Комплекс 297  
«Заслышу ль рифму в перелеске...» 299  
«Проглядев Есенина, упустивши Пушкина...» 300  
Стадион 300  
Трасса смерти (на мотив Л. Левчева) 301  
«Мужчины с черными раскрытыми зонтами...» 302  
«Кошкин лаз» — Цезарь-палас 303  
Рифмо-гекзаметры 305  
Поминки с сенатором 307  
Из дневника графа Резанова 308  
Пианистка 309  
«Как белоснежно, как бездонно...» 310  
«Озеро отдыха возле Орехова...» 311  
«Выгнувши шею назад осторожно...» 311  
Над омутом 312  
«Все конкретней и необычайней...» 313  
Некролог 313  
«Малина и крапива...» 314  
Елка 315  
«Взад-вперед походкой челночной...» 316  
«Медновзметенная гора...» 316  
«В доме негусто, но пиршество взору...» 317  
«Божественно после парилки...» 317  
Деревянная звонница 318  
Новая природа 319  
Новоселье 320  
Верба 321  
Март 322  
Колесо смеха 323  
Из сибирского блокнота 324  
Вступление к поэме «Бой!» 325  
Гость у костра 326  
Распутин (на мотив Ш. Нишнйанидзе) 327  
Свадьба 328

- 
- «В больничном саду воскресник...» 329  
«В век варварства и атома...» 330  
Первый снег 331  
«Вызывайте ненависть на себя почаще...» 333  
Шутливые строки 334  
Калигула (на мотив Р. Лоуэлла) 335  
Индийская королева 338  
«Смеюсь, когда Вы в угаре...» 338  
Хамелеонья душа (на мотив Т. Аргези) 339  
31 марта 340  
Сонет с узлом 342  
Шекспировский сонет 343  
Портрет 345  
«Я обожаю воздух сосновый!..» 346  
Щенок по имени Авошь 347  
«Остерегите истеричек!..» 349  
Фрески 350  
Прорабы духа 351  
Агродорог 354  
Арбатские рощи 356  
1982 357  
Открытка 359  
Три синих 360  
«Две школы — женская, мужская...» 362

#### О. Рифмы прозы 365

Вместо послесловия 466

Алфавитный указатель произведений,  
вошедших в собрание сочинений 470

**Вознесенский А.**

**В 64** Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Стихотворения; Поэмы; О. Рифмы прозы. — М.: Худож. лит., 1984.— 494 с.

В третий том Собрания сочинений Андрея Вознесенского входят написанные в основном в последние годы стихотворения и поэмы, а также произведение, жанр которого автор определяет как «Рифмы прозы», — «О».

**В** 4702010200-313  
028 (01)-84 подписное

**ББК 84Р7**  
**Р2**



**Андрей Андреевич  
Вознесенский**

---

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**В ТРЕХ ТОМАХ**

**ТОМ ТРЕТИЙ**

**Редакторы В. Ефремов, Н. Кузьмина**

**Художественный редактор Е. Ененко**

**Технический редактор В. Нефедова**

**Корректор С. Свиридов**

**ИБ № 3514**

**Сдано в набор 17.01.84. Подписано к печати А11742 от 09.08.84. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. №1. Гарнитура «Журнально-рубленая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 17,21. Тираж 75 000 экз. Изд. № III-1368. Заказ № 2612. Цена 2 р. 30 к.**

**Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литература».  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19**

**Ордена Октябрьской Революции  
и ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Союзполиграфпрома при Государственном  
комитете СССР по делам издательства, полиграфии  
и книжной торговли.  
113054, Москва, Валуевая, 28**

